

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
Ставропольское краевое отделение

Священная война. Великая Победа!

Минеральные Воды · 2020

ББК 84(2Рос–4Ста)

С 24

С 24

Священная война. Великая Победа. Коллективный сборник произведений писателей Ставрополя. ЗАО «Минераловодская типография», Минеральные Воды, 2020 – С. 228, илл.

Редактор-составитель А.И. Куприн

ББК 84(2Рос–4Ста)

ISBN 978-5-905831-28-7

ISBN 978-5-905831-28-7

© Ставропольское краевое отделение
Союза писателей России, 2020



Василий Иванович
ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ,
поэт



Александр Васильевич
АЛЕКСАНДРОВ,
композитор

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война.

Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.

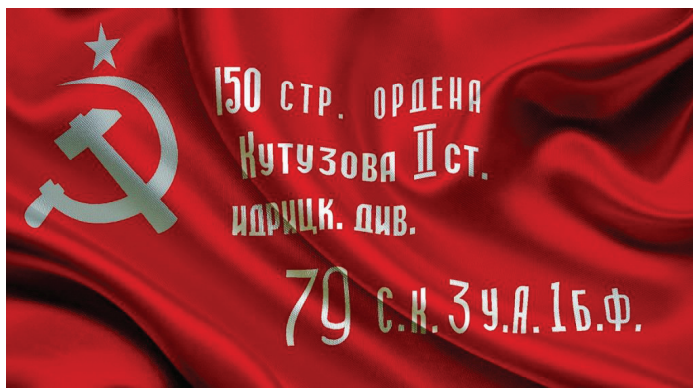
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую.
За наш Союз большой!

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!



Мир под Знаменем Победы

Последний писатель-фронтовик Евгений Васильевич Карпов недавно ушёл из жизни. Их, фронтовиков, на Ставрополье было восемнадцать. Все они поимённо названы в этой книге.

Теперь живой памятью о Великой Отечественной остались только писатели – дети войны. Их у нас двенадцать. Они и послевоенное поколение поэтов и прозаиков в стихах и рассказах выразили свои чувства к героическому советскому народу, который в четырёхлетней смертельной борьбе одолел сильнейшего врага, освободив от фашизма родную землю и страны Европы, благодаря чему вот уже 75 лет мы живём под мирным небом.

*Александр КУПРИН,
председатель правления
Ставропольского краевого отделения
Союза писателей России.*



АКСЁНОВ
Иван Михайлович
Новопавловск

ЗА ДАВНОСТЬЮ ЛЕТ **Рассказ**

В конце сентября, когда листва уже изрядно поредает и промокнет земля, дни, скоротечные, тусклые, не отличимые один от другого, смутной тревогой наполняют душу. Словно с цепи сорвавшись, ветер остервенело треплет их жидкие кроны, швыряет охапки листьев в зябкой рябью подёрнутые лужи. Хмур и неприветлив в это время года лес. С пронзительными криками летят по ветру растрёпанные галки, и сизые лохмотья туч едва не цепляются за верхушки деревьев.

В низкой избе, где вот уже четвёртый месяц живёт Левашов, царствуют полумрак и безмолвие, лишь негромко тикают на стенах ходики да иногда начинает робко скрестись в дальнем углу мышь. Чёткие кресты рам решительно перечёркивают заоконный пейзаж – потемневшие от дождя стволы деревьев, жёлтые лужи, в которые беспрестанно падают мокрые листья и, гонимые ветром, плывут и плывут бесконечной нестройной армадой, обречённой на неминуемую гибель.

Утром, едва только станут сереть квадраты окон, с какой-то злобной решительностью начинает греметь на подоконнике ржавый допотопный будильник, возвещающая конец ещё одной одинокой ночи и начало нового невзрачного дня, и до чего же не хочется, поспешно умывшись ледяной водой и нахлобучив на голову старую шляпу, окунуться в неистовый разгул стихии за стенами дома. Но конь в сарае уже нетерпеливо стучит копытом в ожидании утренней охапки сена, так что хочешь не хочешь, а выходить надо. С тех пор



как лесник Денис лёг в городскую больницу на операцию, Левашову волей-неволей пришлось на время стать хозяином этой затерянной в лесу сторожки и гнедого мерина по кличке Булат.

Особенно беспокойно и одиноко в непогожие ночи. На десятки вёрст вокруг нет ни одной живой души. Конечно, крепкие бревенчатые стены – надёжная защита от опасного зверья, а на стене висит заряженная картечью двустволка, в ящике письменного стола, привезённого Левашовым из городской квартиры, лежит наградной «вальтер» с запасной обоймой, так что бояться вроде бы некого. И тем не менее так беспокойно и тоскливо в осеннее ненастье, и сны стали сниться странные, путанные, полные многозначительных пугающих намёков. В снах этих беспрестанно скитается он по тёмным лабиринтам каких-то нескончаемых коридоров в безуспешных поисках друзей своей юности Максима и Юли, в бесплодных попытках исправить непоправимое.

Вот и сегодня, с трудом выбравшись из подобного сна в серую явь дождливого утра, он встал с постели с ощущением сосущей пустоты в сердце, а потом до самого вечера не мог избавиться от чувства невосполнимой утраты и мучительного сознания собственной вины. И чувство это не проходило даже тогда, когда он за рукописью забывал на какое-то время обо всём, кроме работы.

Пужинав, он положил сена коню, зажёл керосиновую лампу, задёрнул ситцевые занавески на окнах и опять сел за письменный стол. Эта ночь была такая же сумасшедшая, как и предыдущие, но в избе, как всегда по вечерам, отрадным теплом веяло от недавно протопленной печи, и лампа с бумажным абажуром бросала неяркий свет на разбросанные листы рукописи, а на краю стола приклонён был к стене довоенный любительский фотоснимок: трое на фоне цветущих яблонь – сам Левашов, в ту пору почти ещё мальчик, его друг Максим Круглов и их одноклассница Юля, тоненькая, светлая, в лёгком платице из пёстрого ситца.

Как отчаянно были оба они влюблены в неё тогда и как ревновали её друг к другу! Кому из них отдавала она предпочтение – этого Левашову так и не суждено было узнать никогда. Давно уже нет на свете ни её, ни Максима, а он по сей день не может думать о них без боли. Долгие годы прятал он от себя эту выцветшую фотографию, и порой казалось ему, будто мучительные воспоминания подёрнулись наконец слоем холодного пепла, но недавно, начав работу над



новой книгой, извлёк он этот снимок на свет и обнаружил вдруг, что, оказывается, не так просто забыть всё то, что случилось с ними тогда, в сорок втором, на исходе осени.

А за бревенчатыми стенами избы правил бал дождь. Он то чуть слышно, словно прислушиваясь к собственным шагам, крался на мягких кошачьих лапах по двору, то бесцеремонно ерошил листву и травы, то бодро вызванивал по жести забытого под окном прохудившегося ведра обрывки каких-то диких мелодий. Звериними голосами кричал в печной трубе ветер, и от воплей его сумрачно и зябко становилось сердцу и так хотелось привычного уюта городской квартиры, встреч с друзьями, праздничной толчеи театрального фойе. Однако Левашов знал, что не уедет отсюда, пока не допишет задуманный роман о молодости своего поколения, о дружбе и любви в оккупированном городе, в ежеминутном ожидании ареста.

Ему удалось вырваться из мышеловки, в которую все они угодили тогда, и остаться в живых, но какую дорогую цену пришлось за это заплатить! При воспоминании об этом холодеет кровь. Того, что случилось тогда, уже не исправить вовеки. Но раз Левашову суждено было уцелеть, святой его долг – рассказать людям правду о своих ровесниках, так рано и так страшно ушедших из жизни. И он сделает это. Конечно, далеко не всю правду можно открыть читателям: война есть война, в ней так много грязи и так мало книжного героизма и пафоса. А читатель, особенно молодой, нуждается в героических примерах, в романтических образах.

Мысли Левашова прервал остервенелый порыв ветра, с разбегу налетевший на стену. От этого удара изба содрогнулась сверху донизу. Жутко взвыло в дымоходе, и волна холодного воздуха прокатилась по комнате, отчего язычок пламени в лампе вытянулся и побагровел. На несколько мгновений ветер притих, лишь слышно было, как тугие струи дождя вонзаются в землю, а потом набежал новый шквал, ещё более мощный, чем первый. Кроны деревьев зашумели однообразным недобрым гулом, и брызги воды стегнули по содрогнувшимся стёклам.

И вдруг в этот слитный шум, в эту какофонию первобытных голосов взбесившейся природы вплелись какие-то новые, более организованные звуки. Вначале Левашов не понял, что это такое, но потом догадался, что слышит чавканье грязи под чьими-то ногами, и у него беспокойно дрогнуло сердце. Затаив дыхание, он весь обра-



тился в слух, но шагов больше не было слышно, лишь разгулявшаяся непогода кричала, выла, визжала и бичами дождя хлестала по крыше, по стенам и окнам избы. Мало ли что может почудиться в такую погоду! Ему ли, бывшему партизану, поддаваться страху? Всё это не более чем обычные звуки осеннего ненастья.

Так убеждал он себя и в то же время настороженно вслушивался в испулённый рёв ветра, в могучую и мрачную музыку леса. И вот, когда он, как ему казалось, уже совсем было успокоился и рука опять потянулась к перу, резкий стук в окно прогремел с беспощадностью пулемётной очереди. Левашова всего обдало жаром, он вскочил со стула, наклонился над лампой, дунул на пламя, и тотчас непроглядная тьма упала на глаза. Открыв ящик стола, он сдвинул в сторону лежавшие в нём бумаги, и пальцы его нащупали рукоятку пистолета.

Некоторое время он слышал только частые и гулкие удары сердца.

Странно, кто бы это мог быть? Какому безумцу могла прийти в голову мысль в такую жуткую ночь отправиться через лес, ежесекундно рискуя угодить в залитый водой овраг или гибельную трясину? А вдруг это какой-нибудь бандит, из тех, что скрывались здесь после войны? Конечно, трудно поверить в то, что кому-то удалось прожить в лесу более полутора десятков лет, однако жизнь научила Левашова всегда быть готовым к худшему. В лесу всё иначе, неожиданней, нежели в городе, и никогда не знаешь, чем может закончиться здесь случайная встреча с чужим человеком.

Ощупью он нашёл старый кожаный плащ, оделся. Шляпу, чтобы её не сорвало ветром, туго натянул по самые брови, затем, подождав ещё немного, пока глаза привыкнут к темноте, вышел в сени. Ветер тугими волнами толкался в дверь, и, подобно морскому прибою, то громче, то тише бушевала за нею непогода.

Неслышно отодвинув дубовый засов, Левашов шагнул наружу. Ничего не было видно, да и что можно увидеть в этой кромешной тьме?

Неожиданно в конюшне забился, застучал копытами чем-то встревоженный конь. Вот когда пригодилась бы лесникова собака, бесследно пропавшая летом: кто бы ни был этот таинственный ночной гость, при ней ему наверняка не удалось бы остаться незамеченным.



Темень казалась почти осязаемой, невозможно было определить, где кончаются верхушки деревьев и начинается небо. Капли дождя выбивали барабанную дробь по фетру шляпы, брюки на коленях намокли и прилипли к телу.

Левашов осторожно двинулся в сторону конюшни.

В тот момент, когда он ощутил под подошвами сапог мягкую подушку листьев, чьи-то холодные костлявые пальцы, протянувшись вдруг из тьмы, цепко схватили его за горло. Сдавленно вскрикнув, Левашов отпрянул назад и вскинул «вальтер». Три вспышки озарили тьму, три удара грома сотрясли сырой воздух, пули веером ушли в ночь. И лишь несколько мгновений спустя он сообразил, что это были не пальцы, а мокрая ветка, на которую он наткнулся в темноте.

Несколько минут он стоял, прижавшись спиной к стволу дерева, пока не стёрлись с сетчатки глаз застывшие на ней зелёные огни выстрелов, затем, настороженно озираясь и прислушиваясь, обошёл вокруг избы. Ничего подозрительного не было, и тогда он вошёл в сени и задвинул засов. Дверь в комнату оказалась распахнутой настежь: то ли он забыл запереть её на щеколду, то ли ветер, ворвавшись в сени, открыл её. Изба изрядно выстудилась, а это значит, что придётся вновь растапливать печь.

Положив пистолет на край стола, нашарил коробок и чиркнул спичкой. Она вспыхнула с громким шипением, и звук этот заставил его вздрогнуть. «Ну и нервы у меня!» – раздражённо подумал он.

И пока разгорался фитиль, почудилось ему в комнате чьё-то постороннее присутствие. Он и сам не мог бы сказать, отчего ему вдруг стало не по себе: то ли чьё-то дыхание услышал он, то ли боковым зрением заметил какое-то движение, но ему захотелось, совсем как в детстве, когда что-нибудь пугало его, крепко-крепко закрыть глаза и притаиться, словно его и нет в комнате.

Он поднял глаза и обмер: в углу, на лавке, прислонясь спиной к стене, сидел тот, кто никак не мог, не должен был здесь сидеть, потому что много лет уже покоился в братской могиле.

Его расстреляли в сорок втором, в одну из холодных осенних ночей, но вопреки этому он сидел у стола, молчаливый и суровый, в мокром, заляпанном грязью брезентовом плаще с откинутым за спину капюшоном, в рыжей кепке с потемневшим от дождя козырьком. Жёлтое лицо с ввалившимися щеками казалось восковым, и лишь два оранжевых блика в глазах – отражение пламени лампы – немного оживляли его.



– Максим? – упавшим голосом спросил Левашов, тяжело опускаясь на стул: силы оставили его. – Ты?

– Как видишь, – услышал он в ответ знакомый хрипловатый голос. – Что, не рад? Небось, думаешь: не призрак ли?

Левашов сидел несколько минут молча, ошеломлённо глядя на него, потом с трудом выговорил:

– Но как же... Тебя же расстреляли...

– Выходит, не совсем, – сказал Максим.

– Как же ты выжил? Удалось бежать?

Максим молчал.

– А остальные? – с тайной надеждой спросил Левашов. Так захотелось вдруг услышать от Максима, что все его мучительно-горькие воспоминания послевоенных лет – всего-навсего лишь кошмарный сон, и Юля и другие его товарищи не были расстреляны.

– Все наши там, в овраге, остались, – сказал Максим. – Меня в первой тройке расстреляли.

– Но ведь ты жив...

– Невероятно, но это так. Утром женщины из соседнего села стоны мои услышали и вытащили меня из-под трупов. Долго выхаживали, живучий оказался.

– А потом?

– Потом в партизаны ушёл. Наши пришли – добровольцем на фронт пошёл. Да самого Кенигсберга дошагал...

– Неужели больше никто не спасся? А Юля? Что с ней?

– Сам я, как ты понимаешь, видеть ничего не мог, меня же первым расстреливали. Но женщины сказали, что все были просто истерзаны пулями. А мне только две пули досталось: ребята меня своими телами закрыли. Говорят, там две девушки были. Одна из них по описаниям – Юля.

Левашов сидел совершенно оглушённый рассказом Максима. Он и сам не знал, сколько времени продолжалось это состояние оцепенения. Потом заметил, что с полей его шляпы с щёлкающим звуком падают на листы рукописи тяжёлые капли. Сняв шляпу, он положил её на край стола, подальше от бумаг...

«А, чёрт, чернила расплылись, восстанавливать написанное придётся, – подумал он и тут же опомнился: – Господи, да о чём это я? До рукописи ли мне теперь? Вот он, Максим, с того света пришёл – за ребят, за Юлю спросить с меня! Это же всему конец – славе, доброду имени, а может, и свободе...»



– Слышал: ты теперь знаменитость, – сказал Максим, и в его словах послышалась Левашову насмешка. – По книгам твоим деток в школах воспитывают! Газеты наперебой о тебе трубят: крупный прозаик, глава областной писательской организации, депутат Верховного Совета, человек героического прошлого – мужественный подпольщик, чудом из лап гестапо вырвался. Молодец! Всесоюзной славы добиться – это тебе не фунт изюма!

Левашов молчал. Всё в нем словно окаменело, ледяная корка сковала помертвевшее сердце.

– И что же? – продолжал ночной гость. – Является вдруг какой-то нечистый из пекла – и сразу всё на волоске повисает. И тайное становится явным, даже то, что ты сам от себя скрывал. Верно говорю?

Правая рука Максима теребила изуродованными пальцами рукопись, и Левашов глаз не мог оторвать от этой руки. Перехватив его взгляд, Максим усмехнулся:

– Гадаешь, не штурмфюрера ли Зайделя это работа? Нет-нет, это уже наш, родной, советский, следовательно руку приложил. Ряднов его фамилия. Старательный гад был, молодой, да ранний. Очень уж ему хотелось, чтобы я признался, будто организатор антисоветского заговора. Но если уж такой мясник, как Зайдель, зря со мной время потратил, то с какой стати стал бы я этому сопляку угождать – на себя да на других напраслину возводить! Очень я его разочаровал. А десять лет на Севере всё равно оттрубить пришлось – от звонка до звонка.

Он кивнул в сторону рукописи:

– Новую книгу пишешь? Опять о подпольщиках?

Левашов кивнул.

– А как насчёт предательства твоего? – насмешливо спросил Максим. – Расскажешь или скромно умолчишь?

Левашова опять словно холодной водой окатили.

– Ну зачем ты так? – Он укоризненно посмотрел на Максима. – Не надо меня судить так строго! Ты же знаешь, этот палач Зайдель хоть кого мог заставить говорить!

– Не всех. Меня же не заставил! И Юлю тоже, – возразил Максим.

– Не знаю, как тебя убедить... Не предавал я вас. Слаб оказался, это верно, но всё равно от моих показаний ничего не зависело. Вас же одновременно со мною взяли. Моей вины в этом нет. А то, что я Зайделю сказал, ему и без меня уже известно было.



– Но откровенность твою он сумел оценить – в живых тебя оставил.

– Да при чём тут моя откровенность? Расстрелял бы и меня, да не успел: ночью партизаны на комендатуру напали.

– И протоколы допросов вместе с комендатурой сожгли, верно? Вот что тебя спасло! И героем ты стал благодаря этому!

– Но я же искупил свою вину! – горячо возразил Левашов: в этот миг ему и в самом деле казалось, что вся его последующая жизнь была искуплением того, что он сделал по слабости духа тогда в немецкой контрразведке. – Я в партизанах воевал потом, и воевал храбро. Был ранен серьёзно, до сих пор хромаю, на всю жизнь инвалидом остался. Институт после войны окончил. Работал. Две книги издал. Разве этого мало?

– Немало, конечно. Для тебя. Но скажи: а что это дало мне? Юле? Другим ребятам?

Левашов и сам не раз задумывался об этом. Максим прав: разве все эти его заслуги могут исправить то зло, которое он причинил друзьям, вернуть десять погубленных в лагере лет Максиму, жизнь – Юле? Так что же, выходит – никогда ничем вины этой ему уже не загладить? Жил ведь столько лет, как люди живут, и цель в жизни была. И вот в один миг всё разом рухнуло: семейное благополучие, покой душевный, и сама жизнь всякий смысл потеряла. Позор, бесчестье – разве этого ждал он от неё, разве мог он предполагать, что однажды из-под холодного пепла вырвется вдруг почти погасший огонь и сожжёт всё?

Рука его потянулась к лежащему на столе пистолету, пальцы сжали его холодную рукоятку. Максим усмехнулся:

– Ну что ж, у тебя есть возможность избавиться от меня. Застрелил – и концы в воду. Никто ведь не знает, что я здесь. А ты так и останешься героем-подпольщиком, храбрым партизаном. Мне же всё равно недолго жить осталось. Думаю, ты это по виду моему уже понял. Я ведь не на курорте десять лет прохлаждался. Так что стреляй, не стесняйся!

– Да ты что? – изумлённо воскликнул Левашов. – Ты меня... подозреваешь в таком? Это совсем не то... Да, я слаб оказался, пыток испугался... Но убить тебя... Разве я могу такое?..

Он долго молчал, потом, подняв глаза на Максима, спросил:

– Скажи: Юлю... можно было как-то спасти?

Максим покачал головой.



– Нет. Но даже если б и была такая возможность, она всё равно не смогла бы жить после того, что они с нею сделали. Ты же её знаешь... – Он запнулся на мгновение, потом поправился: – Знал... не хуже меня.

Левашов, словно ещё надеясь как-то оправдаться, сказал:

– Я же её любил! Больше жизни!

Максим невольно усмехнулся:

– Теперь это уже не имеет значения. Выбрал-то всё-таки жизнь!

То, что раньше Левашов называл отчаянием, было ничто в сравнении с чувством, владевшим им сейчас. Всё рухнуло, и не осталось никакой соломинки, за которую можно было бы ухватиться. Всё, чем он жил, теперь потеряло всякий смысл, и сама жизнь показалась вдруг нелепым, чудовищным сном, от которого хотелось избавиться как можно скорее. И тогда он резким движением поднял пистолет и приставил дуло к левой стороне груди. Указательный палец ощутил металлический холод и пугающую податливость спускового крючка.

Максим не сделал ни малейшей попытки остановить его, с минуту он молча, даже как будто с любопытством наблюдал за ним, потом сказал язвительно:

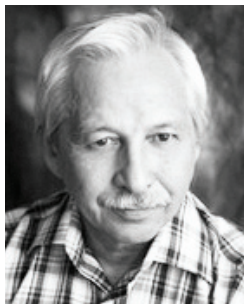
– Ладно, к чему эти трагические жесты? Я не за жизнью твоею пришёл. Просто захотелось в глаза тебе посмотреть. Я уже год почти, с самого возвращения из лагеря, слежу за тобой. Раньше мне казалось, что ты очень благополучный человек. Теперь вижу: несладко тебе с таким пятном на совести жить. Но застрелиться... Нет, это не для тебя. Слишком уж ты себя любишь!

Он встал, поправил кепку, накинул на голову тяжёлый, пропитанный влагой капюшон.

– Прощай. Больше мы не встретимся. Не бойся: о твоём прошлом будем знать правду только мы с тобой. Живи спокойно, пиши свои книги, воспитывай собственным героическим примером молодёжь. А там, гляди, и сам забудешь, что произошло тогда, в сорок втором. Забудешь за давностью лет!

Левашов не успел ещё осмыслить его слова, а уже хлопнула входная дверь, распахнутая ветром, и послышалось чавканье грязи под сапогами Максима. И только тогда он услышал, что за стенами избы по-прежнему бушует буря, и ощутил сквозь кожу плаща и ткань куртки дуло пистолета, приставленного к рёбрам.

Палец ещё лежал на спусковом крючке, но Левашов уже твёрдо знал, что не выстрелит.



АНАНЬЧЕНКО
Николай Михайлович
Ставрополь

ВОЙНЫ МИНУВШЕЙ БОЛЬ

Мне снится иногда, что с автоматом
Лежу я, слыша пуль шальных полёт,
Соседа справа называю братом,
А он меня братишкою зовёт.

Земля пропахла порохом под нами,
Слой гильз горячих землю золотит.
Сосед мой воспалёнными глазами
За рощицей берёзовой следит.

Вторые сутки держим мы высотку.
Мы лишь вдвоём, но выполним приказ.
И наши запылённые пилотки
Как память кто-то сохранит о нас.

Всё друг о друге знаем мы с соседом,
Взаимно заучили адреса.
Приехать в гости обещаем летом,
Хоть каждый и не верит в чудеса.

Взвилась ракета. И, простившись с братом,
Плотнее прижимаюсь я к земле,
Ловлю фашистов в прорезь автомата
И... высыхает влага на стволе.



Я просыпаюсь. Тишина в квартире.
Мне не понять, откуда эти сны?
Родился я в послевоенном мире.
Совсем не знал, и знать не мог, войны.

И хочется мне низко поклониться
Отцам и дедам, павшим и живым,
За то, что мне всего лишь только снится
Войны минувшей боль, и гром, и дым

ПИСЬМО СОЛДАТА

«Родная, здравствуй. Тут у нас затишье,
Есть время пару строчек написать.
Ты знаешь, здесь такая благодать!
А за траншеей сад цветущей вишни.

Я представляю, как у вас красиво!
Трава пробилась цветом в изумруд.
Такой, поверь, во век не сыщешь тут,
Зато есть груши, персики и сливы.

У вас ведь посевная на исходе?
По всем приметам, будет урожай.
И испечёшь ты добрый каравай,
Да и картошки хватит в огороде.

Я б отдал всё, чтоб вы не голодали,
Ведь всё на фронт, чтоб сытым был солдат.
Но я порою и куску не рад –
Ведь от себя его вы оторвали.

Да, нам полегче – сыты и одеты,
Да и фашист не тот, что год назад.
А то, что он войне уже не рад,
На это есть солдатские приметы.



Но он своё получит в полной мере.
Загоним в гроб фашистский злобный сброд.
Уж очень сильно осерчал народ,
Ведь что творят, не люди, просто звери.

Родная, береги себя и дочку,
Я так скучаю! Сердце рвётся к вам!
Пора. Я старшине письмо отдам,
А мы дозором двинемся к лесочку».

Письмо пришло в родимую сторонку,
Но радости оно не принесло...
Рыдали и вздыхали тяжело –
Письмо опередила похоронка...





АНКРИНОВА
Галина Владимировна
Железноводск

ПАМЯТИ ДЕДА

Гладила ладошкой ордена,
Сидя на коленях деда.
Дед с восторгом обнимал меня,
Называл ровесницей Победы.

Не любил он вспоминать войну,
Но, когда за стол друзья садились,
Ставил рюмку лишнюю одну,
А в глазах слезинки серебрились.

И теперь, когда уж деда нет,
Я всегда в священный День Победы
Ставлю рюмку ту, что ставил дед,
И другую – для него, для деда.

ВЕСНОЙ 45-ГО

Последнее, что видел он –
Подснежник возле стылых кочек.
Фашистской пулей был сражён
Единственный в семье сыночек.

Упал... Снежинки в волосах,
Пушок над верхнею губою.



Казалось, что в его глазах
Застыло небо голубое.

Мальчишку, что так ждал весну,
Похоронили утром в поле
Без слёз – отвыкли за войну –
И снова бой, и смерть, и горе...

А в мир уже пришла весна.
Вздыхал боец: «Домой охота...»
Гремела взрывами война,
Месила с кровью грязь пехота...



Я не знала, как пули косили,
Попадая и в грудь, и в висок.
Матерям похоронки носили –
Этот страшный в конверте листок.

Не пришлось мне в морозы и слякоть
С поля боя солдат выносить,
Перевязывать раны и плакать,
И погибших в степи хоронить.

День и ночь у станка не стояла,
Не валилась от голода с ног,
И повешенных не вынимала
Из петли у кровавых дорог.

Но я слышала, как голосили,
Как Победу встречали в слезах,
На солдатских повиснув плечах,
Наши женщины – слава России.



БАБУШКИН КОМОД

Открою бабушкин комод,
А там пилотка и медали...
Покажется, сейчас войдёт
Мой дед. Его всегда так ждали!

Расспросит, как мои дела,
Расскажет обо всём на свете.
Я всё сейчас бы отдала
За встречи дорогие эти.

Храню в душе его рассказ
Про жизнь, войну и про Победу.
Сама я бабушка сейчас,
Но так соскучилась по деду,
Его улыбке и глазам,
Рукам, что отдыха не знали...
Комод он этот сделал сам,
А в нём – пилотка и медали.

СЕДИНА ВЕТЕРАНОВ

Раньше времени бабушке в косы
Лёгкой дымкой легла седина.
На мои отвечая вопросы,
Говорила со вздохом: «Война».

Словно иней в причёске у мамы –
Сколько видела боли и слёз.
И какие же страшные раны
Перевязывать ей довелось!

Седина у отца и у деда –
Серый пепел треклятой войны.



Помню я их глаза в день Победы
И в минуту святой тишины.

Будто видят они в те мгновенья
Кровь врагом осквернённой земли,
Головешки сожжённых селений,
И друзей, что сберечь не смогли.

Снова рядом их однополчане –
Память всех поимённо вернёт...
За одну лишь Минуту молчанья
Вся война перед ними пройдёт.

ОТЦОВО НАСЛЕДСТВО

Помню, папа вернётся с работы,
Скажет: «Дочь, патефон заводи!»,
И, забыв про печали-заботы,
Про осколок, что носит в груди,

Станет слушать, как стонут пластинки,
Подпевать и друзей вспоминать.
Набежавшие с грустью слезинки
Незаметно рукой утирать.

«Эх, дороги», «Землянка», «Катюша»,
И «...закурим давай по одной» –
Эти песни спасали им душу
На дорогах, изрытых войной.

Песни, песни военного детства,
Вас забыть никогда не смогу.
Дорогое отцово наследство
Для своих сыновей берегу.



БАГРАМЯН
Сусанна Оганесовна
Георгиевск

КУСТ СИРЕНИ

Сколько упоительных мгновений
Дарят нам живые краски дня!
Под окном душистый куст сирени
Пышным цветом радует меня.

Подойдут к нему сегодня люди,
Чтоб принять его бесценный дар.
И уже на веточках не будет
Полыхать сиреневый пожар.

Куст свою проявит щедрость рано.
Для того цветы он и растил,
Чтобы в День Победы ветеранам
Раздарить
и счастье обрести!



Эту историю рассказал мой дедушка Агасарян Гурген Григорьевич – ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Кавказских Минеральных Вод в январе 1943 года.

Ночью семилетний Ванюша услышал стук в дверь и голос незнакомца:



– Хлеб, хлеб, – повторял он, желая скорее увидеть голодного мальчика-сироту.

Ванюша поднял крючок и открыл дверь. Через несколько секунд немец уже лежал на полу. Это семнадцатилетний сосед Сашка подкрался и вонзил в него вилы.

В кармане убитого нашли фото мальчика, очень похожего на Ванюшу: густой чуб, свисающий на лоб, большие глаза, крылатые брови, прямой нос, слегка пухлые губы. Стало ясно, почему немецкий солдат зашёл именно к Ванюше с куском хлеба.



Погибшие в одном строю с живыми. Бессмертные полки – людские реки памяти, текущие по улицам наших городов и селений.



День Победы. Место в трамвае ветерану Великой Отечественной войны уступает ветеран, чуть младше его по возрасту. Куда смотрит молодёжь? В свои мобильные телефоны и планшеты...



На входной двери инвалида Великой Отечественной войны кто-то написал мелом: «А тут живёт хромой». Расстроенный ветеран направился к детям, играющим на улице, и дрожащим голосом сказал: «Я потерял ногу на фронте, а вы...», и его глаза наполнились слезами. Мальчишки долго стояли, как вкопанные, – были огорчены случившимся. Лишь один вёл себя спокойно, как ни в чём не бывало. Он ещё не сознавал, что совершил моральное преступление...



Мамаев курган. Бледная пожилая женщина-христианка подходит к гранитной плите, на которой высечены имена погибших воинов разных национальностей, разной веры. Среди них – имя её сына. «Бог един», – говорит она слабым голосом, со скорбью в глазах и, крестясь, желает погибшим Царствия Небесного.



БОНДАРЕНКО
Николай Пантелеевич
Минеральные Воды

Т-34

Мой город! Город-труженик и воин
В скрижалях не был славным никогда...
И хоть больших наград не удостоен,
Но всласть хлебнул в военные года.

Средь достопримечательностей города
Есть памятник. Нет! – Память о войне,
Свидетелем рождения которого
Невольно быть пришлось однажды мне.

Могучий танк, бронёю раня кроны,
В короткий и торжественный момент
Навечно встал у Дома обороны,
В последний раз взлетев на постамент...

Выносливый в жару, и в грязь, и в стужу...
Участник тех стремительных атак...
Так с той поры вопрос запал мне в душу:
А всё-таки, не тот ли это танк,

Что зимним днём в начале сорок третьего
Освобождал наш город от врага?
И вот однажды довелось мне встретиться
С гвардейцем-ветераном из полка,



Который вёл бои за этот город,
А после, в январе и феврале,
Погнал врага через поля и горы
По ставропольской выжженной земле.

И вот сидим мы рядом. Две эпохи.
Он – в орденах по борту пиджака,
А у меня... лишь Лермонтова строки,
Готовые сорваться с языка.

В его лицо морщинистое глядя,
В лицо, что годы изменили так,
Хотелось мне начать: «Скажи-ка, дядя!..»
Но начал просто: «Тот ли это танк?»

Он затянулся сигаретой «Шипка»
И усмехнулся, глядя мне в глаза:
«Да как сказать... Не вышло бы ошибки,
Ведь это было сорок лет назад!»

И, на виске седую прядь пощипывая,
Повёл рассказ про славный батальон,
Про танки подполковника Филиппова,
Ворвавшиеся в город, смяв заслон,

Про свой последний танк – надёжный, вёрткий.
Потом закончил... Видимо, устал...
«Хороший это танк – тридцатьчетвёрка
Но место ему – звонкий пьедестал!»

Пусть в городах, посёлках и окружающих
Стоят они, как память, как наказ:
Уж коль страна тебе доверила оружие,
Не посрами его! – и весь мой сказ.

Танк этот – символ, хоть оружие славное.
Чтоб снять вопрос, запомни наперёд:
Жива людская память! Это – главное!
И так ли важно – тот или не тот?



НЕДОТЁПА

Жил на улице нашей окраинной
Дядя Стёпа. Мужик как мужик.
В меру пил, буйных сцен не устраивал,
С ребяtnёю окрестной дружил...
Только звали его дядя Стёпа,
К сожаленью, одни пацаны.
А для взрослых он был Недотёпа –
Это прозвище шло от жены.

Помнят люди, когда в сорок пятом,
В январе, он вернулся домой
С заключеньем в бумаге помятой:
«Признан годным лишь к нестроевой...»
– Ну и что ж! Не годится в окопы.
Главное – дома, – трещала жена.
...И вставал до зари дядя Стёпа,
А война ещё шла... Шла война.

По весне, в обновлённом подворье
Пел побудку горластый петух
И корову по прозвищу Зоря
Принимал от хозяев пастух.
Отступили и сгинули беды
От двора Недотёпы... Как вдруг,
Долгожданное слово: по-бе-да-а-а!
Всё собой наводнило вокруг.

И пошло-покатилось веселье,
Где за длинный, за праздничный стол
Дружной уличной шумной артелью
Человек разместилось под сто.
Были жёны немислимо рады,
Белой завистью млели сыны,
Глядя на боевые награды
На груди у пришедших с войны.



И, как водится, – воспоминанья:
Где... Когда... На каком из фронтов...
Кто, каких удостоился званий...
Кто Орёл штурмовал, кто Ростов...
А когда Недотёпа пытался
Рассказать про свой путь боевой,
От стола отделившись, поднялся
Наш сосед Константин Груздевой.

Подошёл... по затылку пошлёпал
И с кривою усмешкой сказал:
– Где ж медали твои, Недотёпа?
Воевал он... Видать – воевал...
Кто-то хмыкнул задире в угоду.
В основном же, хоть и захмелел,
Стало как-то неловко народу...
Обалдел он... И оторопел...

А жена Недотёпы, Наталья,
Взвилась: – Хоть он и из рядовых,
Что там стоят твои – две медали
Супротив его ран боевых!
И вlepила пощёчину звонко...
И, подняв Недотёпу как куль,
Показала, задрав гимнастёрку,
Многоточье от вражеских пуль:

– Вот, любуйтесь! Во время атаки
По пехоте ударили «юнкеры»,
Словно ножик в кулачной драке –
Беспощадные, злобные, юркие.
А вокруг – ни скалы, ни окопа.
И – нажал на гашетку фашист.
Вот той очередью Недотёпа
Был к земле, словно ниткой, пришит...



А награды, которыми звякал,
Все, что он заслужил на войне,
Перед этой смертельной атакой
С документами сдал старшине.
А потом... Помнит лишь, что бинтуют...
Медсанчасть... Госпитальный покой...
И списали его подчистую.
А награды... Да он же какой!

И, с души словно сняв паутину,
Повела Недотёпу домой,
На прощанье сказав Константину:
– Пусть он и Недотёпа, а мой!
Вот какие бывают жёны –
Мой и – всё! А потом уж «какой».
В этом доме очаг разожжённый
Не погаснет. Семейный покой

Сбережёт, как тут кто-то заметил,
Берегиня... А проще – жена.
Жаль мне тех, кто такую не встретил.
Или просто не ценит сполна.
Да, согласен, не все одинаковы,
И у каждой характер – не мёд,
И язык – словно бритва. Однако вы
Выбирали-то их не на год!

«Береги свою жёнку-голубицу!» –
Так отцу ещё дед наказал.
И запомните: «Стерпится – слюбится» –
Кто-то очень неплохо сказал!





**БРОДОВСКИЙ
(ПЕТРОСЯН)
Валерий Давидович
Ставрополь**

ТАИСИЯ

Окутанная вечерним полумраком, Таисия Поликарповна сидела на краю больничной койки, размышляя о завтрашней операции. Нет, она её не боялась. Знала, что удаление вовремя диагностированной опухоли в груди даст шанс прожить ещё несколько лет, что не так уж и плохо в её почтенном возрасте. Она мечтала дожить до дня, когда самая младшая из внучек выйдет замуж.

Залетевший в приоткрытую форточку ветерок наполнил палату пряным запахом степных трав. Утро обещало быть тёплым. Подумав, что в ближайшее время не придётся гулять с супругом по любимому парку, как уже много лет было у них заведено, Таисии Поликарповне немного взгрустнулось.

Хирургическое вмешательство такого рода способно пошатнуть психику любой женщины, но только не её. «Жить можно и без груди, – рассуждала медсестра со стажем. – Главное – не стать обузой».

Опустив с плеча бретельку ночной сорочки, она осторожно коснулась груди, поражённой болезнью. Через мгновение мысли унеслись в далёкое прошлое, когда её молодость и красота завораживающе действовали на сильный пол...

Только двое мужчин касались груди Таисии, не считая, конечно, сыновей, которых она выкормила. Единственным мужчиной для неё всегда оставался любимый муж. Лишь совсем недавно, уступая настойчивости детей и внуков, он с большой неохотой покинул палату и сейчас, вероятно, больше неё самой переживал за исход предстоящей операции. Но был и другой человек, тот, лицо которого Таисия уже совсем не помнила...



Шли последние дни войны. Близость её конца чувствовалась во всём: в том, как яростно сопротивлялись солдаты вермахта; как, несмотря на грохот орудий и трескотню автоматов, в редчайшие минуты затишья по-весеннему разливались трели птиц; как расплывались по грязным, смертельно усталым лицам наших солдат улыбки, а в воздухе висело долгожданное слово «Победа».

Закончив перевязывать бойца, только что поступившего в санбат с новой партией раненых, Таисия подошла к следующему. Поражённый осколками в грудь капитан мужественно сдерживал стоны.

– Потерпи, миленький, будет немного больно! – предупредила девушка, ловко срывая с запекшихся ран окровавленные повязки.

– Не надо... поздно... дохожу... – едва слышно прошептал офицер, касаясь шероховатой ладонью её руки.

– Да что ты?! Сейчас перевяжу, а тут и доктор освободится! – пыталась ободрить его Таисия. – Он тебя быстро на ноги поставит. Хирург у нас от бога! Знаешь, скольких людей с того света вернул?! Мы ещё на твоей свадьбе погуляем...

Она привычно произносила изношенные фразы. Из последних сил капитан решительно отвёл её руку в сторону:

– Я, сестричка, свою свадьбу уже отгулял. Останется теперь моя Алёнка одна с дочкой... – Зайдя в долгим изнуряющем кашле, офицер выплёвывал окровавленную мокроту в таз, полный использованного перевязочного материала. – Не мучай, дай спокойно отойти. Я ведь давно воюю, всё понимаю. Кончаюсь.

Уже давно были выплаканы Таисией все слёзы, но всякий раз, когда на её глазах умирали солдаты, душа трепыхалась в груди, словно простыня на ветру. Сколько же их, молодых, красивых, не вернётся с войны к родным очагам?! Вот и у этого несчастного смерть тенью легла на лицо.

– Сестричка, милая, обнажи грудь! – вдруг тихо попросил капитан. – Пожалуйста!..

Опешив от столь неожиданно прозвучавшего неприличного предложения, Таисия рефлекторно отстранилась от раненого. В сердце неприятно кольнуло: «Вот гад! Жизнь едва теплится, а всё туда же».

В иной обстановке она, не раздумывая, дала бы наглецу по морде, но что-то в его голосе послышалось девушке такое, что не вязалось с обычной мужицкой похотливостью.



Всякого насмотрелась Таисия за время войны. Жизнь и здесь брала своё. Видела, как некоторые из боевых подруг становились чьими-то ППЖ – походно-полевыми жёнами. Она никого и никогда не осуждала. Считала, что не имеет такого права. Не раз и ей делали недвусмысленные предложения. Многим выздоравливающим солдатам и офицерам хотелось затащить хорошенькую девушку в койку. Воспитанная в строгости, Таисия берегла себя для будущего мужа. Расхожая фраза «война всё спишет, если выживем» имела для неё обратное значение. Именно война являлась тем фактором, из-за которого Таисия отказывала себе в личной жизни.

– ...Тригодане видел жену! – продолжал тем временем капитан. – Забыл, как пахнет женская грудь...

Смутившись, девушка хотела убежать от стыда, но, представив на мгновение, какую сильную физическую боль и отчаяние испытывает умирающий, как можно мягче произнесла:

– Как вам не стыдно, вы же офицер! Лежите спокойно и не мешайте!

Пристыженный капитан покорно подчинился. В угол, где стояла его койка, свет от тускло мерцавшей под потолком лампочки едва проникал, и ей с трудом приходилось накладывать повязку. Смердный запах смерти, пропитавший палату, ударял в нос.

Таисия чувствовала, как силы покидают человека. Закончив перевязывать, она уже собиралась уйти, но вдруг заколебалась. Оглядевшись по сторонам – язык у солдат, как помело, разговоров потом не оберёшься – девушка не без усилия, испытывая сильное волнение и неловкость, стянула с худых плеч халат, медленно потянула ворот гимнастерки, высвобождая из нательной рубашки грудь. Испугавшись, что раздумает, она обеими руками схватила безвольную мужскую ладонь и опустила её на тёплую плоть. На мгновение их глаза встретились. Стыдливо отвернувшись к стене, капитан выдохнул:

– Спасибо, родная!

Быстро запахнувшись, всё ещё находясь в сильном смятении, девушка подхватила таз и выбежала из палаты, чувствуя, как пылают щёки. Оказалось, не все ещё слёзы выплакала её настрадавшаяся душа. Едва сдерживая готовые вырваться наружу рыдания, Таисия думала о мужчине, который, возможно, в этот самый момент вспоминал свою жену.



Через час вернувшись в палату осмотреть раненых, она застала капитана в той же позе. Прощальным приветом на его лице застыла грустная улыбка.

Война ежечасно вносила свои коррективы. Наутро опустевшую койку занял другой офицер, совсем молоденький старший лейтенант, раненный в обе руки. Кто-то из очевидцев рассказывал о его бесстрашии, о том, как геройски он повёл солдат в рукопашный бой. Лишь на третьей перевязке, запинаясь от смущения, «бесстрашный» офицер осмелился заговорить с ней.

– Когда закончится война, я вот этими руками приготовлю для вас самое вкусное блюдо на свете, – застенчиво улыбаясь, невнятно пробормотал старлей. – Если, конечно, вы не откажете в любезности пообедать со мной. – Неуклюже боднув подушку головой, он показал на большую трофейную плитку шоколада. – А пока прошу принять вот это за ваши... – он хотел сказать «необыкновенные глаза», но, решив, что это прозвучит пошло, скомканно выдавил: – За ваши нежные руки!

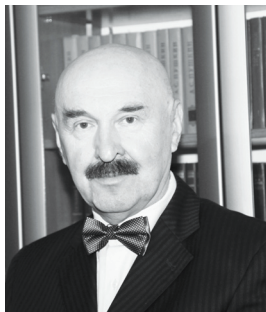
Бросив на очередного скороспелого ухажёра насторожённый взгляд, Таисия, решительно настроенная отказаться от подарка, вдруг подумала, что ещё никто не делал ей таких предложений. Одарив юного офицера улыбкой, она без особого любопытства поинтересовалась:

– А вы повар?

– Вообще-то, будущий архитектор! Сбежал на войну прямо из института. Но теперь, думаю, поменяю профессию. – Придвинувшись к девушке, он заговорщически прошептал: – Знаете, так хочется вкусно и досыта поесть чего-нибудь домашнего! Вот я и подумал: а не составит ли мне компанию такая девушка, как вы? Потом, когда закончится война!..

Поваром Вячеслав не стал, продолжив учиться на зодчего. Но Таисия за это в обиде на мужа не была. Вспомнив, каким встревоженным он сегодня уходил, она улыбнулась и начала готовиться ко сну. Ей было необходимо сохранять силы перед очередным этапом их совместной жизни...





БУТЕНКО
Владимир Павлович
Ставрополь

ПЯДЬ КАЗАЧЬЕЙ ЗЕМЛИ
Глава из романа «Казачий алтарь»

Тяжёлая, продыmlённая ночь падала на степь. Духота ощущалась даже здесь, на берегу. Семь потов сошло с Якова, пока он, оголенный до пояса, дорыл свой окоп. Командир взвода лейтенант Левченко устало присел на корточки, наблюдая, как Яков разравнивает бруствер. На груди бывшего будённовца колыхнулся орден. На широко лице бравое смотрелись завитые кончики длинных усов. Он зачерпнул в ладонь комкастой землицы, помял её и вздохнул:

– Влажная. Налипает на лопатку?

– Вода, наверно, близко...

– Близко. В третьем отделении только до пояса и дорыли... Я с ними буду. А ты уж сам командуешь... Если ещё при силе, помоги Матвееву-младшему. Из сил пацан выбился.

– Хорошо. А как мои остальные?

– Докапывают. Вот что, Яков... Без моей команды отсюда ни шагу! – предупредил лейтенант, которого казаки чаще звали просто по имени-отчеству. – Приказ есть приказ. Хотя... Сам понимаешь...

– Слушаюсь, Анатолий Филиппович. Можно разок нырнуть?

– Быстро и по очереди. Сейчас ужин подвезут.

Проводив Левченко, Яков пошёл к бойцам своего отделения. Иван Манацков, дядька Петро Матвеев и Зосим Лукич Лунин уже завершали работу. Аверьян, управившись первым, дорыл окоп за Шурку Матвеева, который сидел рядом на траве. Завидев командира, паренёк вскочил, вытянулся. Невзначай задетый жалостью, Яков спросил у него совсем нестрого:

– Исккупаться хочешь?



– А можно, товарищ младший сержант?

– Дуй! Туда и обратно.

Лёгкая речная водичка, как всегда, взбодрила и придала казакам уверенности. Вовремя подоспела и полевая кухня. Набрав в котелки перловки с говядиной, а в кружки – чаю, бойцы вернулись к окопам. За считанные минуты справились с едой. Закурили.

Канонада приближалась с севера. Отголоски её перекатывались и направо, и налево. Фронт, без всякого сомнения, ширился. И как же чужды были эти саднящие, сеющие смерть залпы устоявшейся здесь тишине! Всё заметней веяло от темно-серебристой глади свежестью, пахло береговыми травами и молодым камышом. В зарослях батлавука паслись, щелоктали в тине клювами утиные выводки. Изредка зеркало мелководья, отразившее звездное небо, изрыбляли пущенные ими волнушки.

– Эх, зараз бы сеточку тут поставить, – вожделенно заметил Иван Манацков, невысокий, вёрткий казачок из верхнедонцов. – Сазан днями по ямам стоит, а об эту пору снимается.

– Об эту пору, братцы, бывало по молодости, мне от бабы варом не отольёшь, – сказал дядька Петро, воспользовавшись тем, что внук его, Шурка, мыл в реке солдатские котелки и кружки. – Да и рыбалка – дело приятное... Ктой-зна, чи придётся ишо...

– Вот как получилось! – крутнул головой Аверьян. – В аккурат нам выпало сталинский приказ исполнять. Ни раньше, ни позже.

– Без воли Господней и волосина с головы не упадёт, – пробасил Зосим Лукич и огладил свою бородку. – Я с «живыми помощами» в кармане империалистическую войну прошёл и гражданскую, и хоть бы пуля царапнула. И теперича они при мне.

– Это верно. Молитва на пользу, – поддержал его Матвеев-старший. – Многих спасала и, даст Господь, нам поможет... Нема тут политрука? – оглянулся лихой рубака. – А то за агитацию...

– Гутаришь – спасала. А почему «ганс» сюда дошёл? – возразил Аверьян, ложась на спину. – На бога надейся, а сам не плошай. Коли двинутся супротив нас танки под орудийную музыку, то...

– Стало быть, так на роду написано, – веско прервал его Зосим Лукич. – Перед богом дюже мы провинные... Как Христа распинали, так и Расею распять хочут. Через грехи наши... Вот что!



– А рази ж в гражданскую думали мы про грехи? – возразил дядька Петро. – Восстали друг на друга... Коли за кадетскую власть – к стенке! Меня впоймают – в распыл за большевизм.

– То-то и оно! – ухмыльнулся Зосим Лукич. – Были единым казачеством, а раскололись! Ить ты вспомни... В двадцатые годы притесняли за то, что казачьего рода? Было дело! В коллективизацию? Обратно так! Шаровары носить запрещали... А зараз? Снялись мы отрядами из хуторов и станиц, поднялись за Расею. Силком нас не тянули. Потому как в кровях наших оборонить страну от врага... Я, казаки, о другом дюже сокрушаюсь. Коли дрогнем мы тут, в первых лютых боях, то припомним нам и нагайки, и царскую службу, и чёрт-те что... Никак низя немцу поддаться! И приказ Сталина правильный... Некуда отступать!

От реки, погромыхивая котелками, подошёл Шурка Матвеев, сел рядом с дедом. Петр Савельевич пододвинул к нему скатку шинели, заботливо сказал:

– Приляг, Шура. Ночка длинная.

– Ещё чего! Около воды слышно, как по кукурузе что-то трещит.

– Это завсегда так перед боем, – поучающе бросил Манацков. – Я с финнами полгода провоевал, пока не списали по ранению. Лежишь в лесу, в сугробе, и чудится, что снайпер ветками шебуршит. Глянешь – ветер ели качает. А всё одно поджилки трясутся.

Аверьян поднялся на ноги, прислушался. Его рослая фигура закрыла наполовину темнеющий вдаль холм. Голова достала до звёздного неба.

– Под такой оркестр задрожешь, – проговорил он неспешно. – На басах жарят – орудия... А это россыпью – пулемёты. И миномёты! Квакают по-лягушачьи... Должно, бой верстах в пяти?

Встал и Яков, оббил с ладоней прилипшие травинки. Тоже прислушался. Действительно, с поля доносился непонятный шум.

– Расходимся по окопам, – поторопил Яков. – Приготовиться к бою...

Разом охватило его гнетущее напряжение, уже испытанное прежде в боях. Позади пространство казалось спасительно-родным, а то, что таилось перед глазами, – отчуждённым, враждебным, хотя и за рекой была казачья степь. «Верно в приказе сказано: прятались за спины друг друга, драпали, вот и докатились до Кубани! Куда



отступать? – тоскливо размышлял Яков. – Сто пятьдесят вёрст на восток – и мой Ключевской! Спасать свою шкуру, а Федюньку, родителей и Лиду отдать на поругание? Нет, без них мне тоже не жизнь!»

Карабин был заряжен ещё со вчерашнего вечера, когда полк начал передвижение. Яков положил его на бруствер, из вещмешка перегрузил в подсумок все три обоймы. Вставил в гранату запал, примостив её ручкой вверх на пласт земли. И прилёг возле окопа на траву...

Хлебнувший пехотинского лиха, Яков усвоил, что фронт делится на участки, где противник наносит главный, массированный удар, и на районы вспомогательных операций. И сейчас, прислушиваясь к гулу, наблюдая, как кромсают темь сполохи, хранил в душе надежду, что эскадроны минует участь смертников, обреченных. В ближней степи по-прежнему было безмолвно. Сверлили ночь сверчки. Под их монотонную песнь бойцы в окопах будто уснули. Но странное предчувствие беды не покинуло Якова даже тогда, когда прикрыл глаза и полузабылся, сломленный усталостью. Почудилось, что дышит он, Яков, после пахоты на полевом стане, и дед Тихон тут, и бредёт по лугу огромная вороная лошадь...

Первый же выстрел, взломавший долгое затишье, остро отозвался в душе. Яков спрыгнул в окоп, схватил карабин. Близкая опасность стянула нервы в узел. В жидком блеске полумесяца справа, по гати, двигались чёрные силуэты. Автоматчики, находившиеся у камышей в секрете, дали по нам длинные очереди. Ответно слаженно зарокотали вражеские автоматы. Пи-иу! Пи-иу! Пули пропели над самыми окопами. Мигающие свечки стреляющих автоматов зажглись по всему противоположному берегу! И разом погасли. Как по команде стихли. Яков понял, что немцы лишь прощупали линию обороны.

Через минуту в небе зависли три осветительные ракеты. Мощно, обвалью вслед за автоматами заработали немецкие пулемёты. Под их прикрытием на гать хлынула людская лавина.

– По врагу – огонь! – надрывно крикнул где-то неподалёку Левченко.

Вдоль берега, обороняемого казаками, прокатился оружейный залп. Дробно забухали карабины, подали редкие голоса автоматы. С надсадкой подхватили гром ручные и станковые пулемёты. Эскадрон вступил в бой!



Яков стрелял прицельно, стараясь гасить за рекой вспыхивающие свечки. А гать обстреливали казаки соседнего взвода. Густо запахло пороховым дымом. Всё чаще клацали затворы винтовок и карабинов. Пальба нарастала. И жутко было замечать Якову, как вкривь и вкось стегали по их берегу смертоносные жгуты трассирующих пуль...

От дальних камышей стали отчаливать лодки. Пулевая россыпь ударила в бруствер, хлестнув по лицу землёй. Яков припал на корточки, унимая резь в запорошенных глазах. Переждал. Когда же вновь поднялся, то понял с ужасающей ясностью, что остановить три лодки, приближающиеся к этому берегу, уже не удастся.

Ожесточенный бой полыхал слева, у станичного моста. По наступающему врагу прямой наводкой били пушки. Немцы пытались прорваться к позициям казаков посуху и ударить во фланг. Те же, кто высаживался с лодок, должны были расчленить линию обороны и порознь ликвидировать очаги сопротивления. Это вовремя понял Макагонов. И немедленно направил связных к командирам взводов.

Проламывая камыши, вскоре показались в освещении меркнущих ракет бегущие зелёные призраки. Они были метрах в пятидесяти от окопов. Уже ничего не испытывал Яков, кроме отчаянной ненависти и готовности к худшему. И стрелял, стрелял напропалую!..

Взрыв гранаты, брошенной кем-то из казаков, прижал атакующих к земле. Тут же Яков швырнул свою, следом за ним – Аверьян, чей окоп был рядом. Пользуясь заминкой немцев, Левченко вылез из окопа и зычно крикнул:

– Взвод! Бойцы! За-а мно-ой!

Внезапный, безрассудный набег казаков ошеломил немцев. Увидев рядом точно вставшую из-под земли неприятельскую цепь, они в растерянности решили, как часто случается в ночном бою, что контратакующих больше, чем на самом деле. Вступить в рукопашную с превосходящими силами – значило бы обресть себя на гибель.

Стараясь держаться плотней, казаки догнали немецких солдат на мелководье. Яков налетел на плечистого парня с закатанными рукавами френча. Дрались кулаками, сознавая, что в живых остаться только одному. Изловчившись, крепыш нырнул, загреб Якова под колени и повалил. Катались по взбаламученной грязи, норовя сдавить друг другу горло. Яков пропустил удар коленом в живот. И ослабил руки. А пехотинец уже нащупывал на своём ремне тесак... Небывало



отчётливо мелькнуло в голове, что сейчас он, Яков, у м р ё т! И, преодолевая боль, с натужным стоном отшвырнул парня, вскочил первым, успев садануть сапогом по каске. Она тупо гроыхнула. Немец вскрикнул, сбитый на спину. Тут же Яков каблуком припечатал ему шею. И явственно услышал, как смертельно хрустнули позвонки. Минуту, не созная себя, втапывал голову мёртвого в ил...

На берегу Яков подобрал свой карабин. В камышовых прогалинах буйствовала рукопашная. Вскипал ядреный русский мат. Около вербы Аверьян с обеих рук охаживал неуклюжего фрица в кителе. Офицер не оказывал никакого сопротивления. Согнувшись, закрывал лицо ладонями и что-то бормотал. Яков передёрнул затвор карабина, жестко бросил:

– Отойди!

– Это командир, – предупредил Аверьян. – Нам за него медали...

Яков вскинул карабин и в упор выстрелил. На мгновение его ожгли объятые ужасом глаза! Даже в полумгле различил Яков их жутковатый, молящий блеск...

Теснимые казаками, немецкие пехотинцы вплавь возвращались на северный берег Еи. Добивать их на воде нельзя было по двум причинам: плотный пулемётно-автоматный огонь прикрывал отход и к тому же ракеты догорели. Оружейная перепалка длилась ещё больше часа.

На заре Левченко собрал взвод у крайнего окопа, в прикрытии искореженной осколками старой вербы. На разостланной плащ-палатке неподвижно стыли Игнат Чумаков, Федор Алексеевич Матехин, Иван Манацков. Раненного в плечо Шурку Матвеева увёл санинструктор. Вместе с внуком отлучился и дед.

Сняв пилотки, сидели подле убитых в скорбном молчании. Нечеловеческую усталость после боя ощущали все, кроме, пожалуй, Зосима Лукича. Он по-прежнему не терял присутствия духа. Завёл покойникам глаза, по-христиански сложил их руки. Перекрестившись, молвил:

– Убиенных ратников за святое дело Господь берёт в рай. Жили казаками и полегли по-казачьи! Царствие вам небесное! – И горестным голосом добавил: – Гутарил же про «живые помощи», а не послухал Иван...

Яков сидел, сцепив на коленях ладони. Неведомая опустошённость холодила душу. А мысли против воли перескакивали с одно-



го на другое, не позволяя обрести прежнюю твёрдость духа после того, как там, на берегу, застрелил безоружного. Притягивали взгляд трупы немцев, темнеющие вдоль камыша. Вдруг померещилось ему, что оттуда тоже кто-то пристально смотрит...

Яков поёжился и, чтобы прогнать наваждение, скороговоркой шепнул Аверьяну:

– Зря я того офицера...

– Не жалкуй! Вон, полегли братушки наши... Ты понимай, что немцы – не люди, а враги. На войне, Яша, все кровью мазаны. Про милость помнить не мочи! Либо ты его, либо наоборот... А как в сабельном бою? Там ишо страшней! Махнул шашкой – и полетела душенька!

Когда развиднелось, томимый волнением Яков украдкой попросил у Лунина молитву. Зосим Лукич достал из нагрудного кармана гимнастёрки несколько потёртых листков. С важным видом пояснил:

– «Живые помощи» разные есть. А как ты заместо крестика носишь комсомольский значок, то и молитву дам тебе соответственно. Уповай на ангела своего!

В сторонке Яков торопливо набросал химическим карандашом на краю газетного обрывка:

«Молитва Ангелу Хранителю.

Ангеле Божий, хранителю мой святой, на соблюдение мне от Бога с небес данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь».

Вскоре Якова позвали на летучее комсомольское собрание, где козморг эскадрона привёл его в пример другим, похвалив за храбрость и за то, что убил двух фрицев.

А над степью, готовый в любую секунду содрогнуться от нового боя, занимались зарева: на востоке встающий рассвет сулил надежды на лучшее, на западе полыхало огнище нив, предвещая беды. Между этих двух зорь – живой и мёртвой – держался на ниточке великий земной мир...





ВОРОПАЕВ
Олег Владимирович
Новопавловск

ДЕЗЕРТИР

Зоя спешила домой. День будний и дел под завязку. Для топки набрать сушняка-травостоя за речкой, из той же реки и воды нанести. Поесть приготовить. Насчёт «приготовить» не сильно-то разбежишься, но можно картошки сварить, да и перловка пока ещё есть. Уроки, конечно. Но это уж само собой.

Зое – двенадцать. Пятиклашка. С подружками бегать да в куклы играть – самое время. Но в куклы – тайком. От кого? От мальчишек, конечно. Узнают, задрязнят. Станица казачья, и мальчишки тут воинственно бесцеремонны.

Февраль 43-го. И месяца не прошло, как с мамой, райкомовской служащей, вернулись они из эвакуации. А были в Азербайджане, в предгорьях.

Людей в станице Советской заметно ubyло. Бабы да старики в основном, ну и дети, конечно. Случается, и военный пройдёт на улице, а вместо руки – рукав заправленный.

Воюют мужики. Отец у Зои уже майор. Начальник финчасти боевой дивизии. А Фёдор, брат, так тот в артиллерийское училище, со школьной скамьи «прямой наводкой». Оттуда под Сталинград. Идома уже отметился, после ранения. Осколочное – в ногу. А месяц назад – второе. Тяжёлое в этот раз. Теперь всё госпитали меняет, никак не оправится.

Открыла Зоя калитку, а на снегу треугольник – солдатский конверт. Ух, ты!.. От своих, не иначе – фронтовиков. От радости даже в жар кинуло. Но что это? Нет на конверте обратного адреса. И почерк ещё... «Бородулиной Ольге Сергеевне». Совсем незнакомый... Не «похоронка» ли? Да нет же, не может быть! Похоронки приходят в конвертах казённых. А тут – треугольник. С мыслями этими зашла в



дом. Письмо положила на стол и долго смотрела на почерк. Нет, не знаком. Эх, надо бы маме снести! Но любопытно же, правда? И никакое это не преступление... подумаешь...

Вскрыла, и с первых же строк понял – беда! Беда чёрной птицей нависла – над домом, над мамой, над ней!

А строки такие: «Дорогая Ольга Сергеевна! Не знаю, поймёте ли Вы меня? Простите ли? Я убежал из-под конвоя. Арестовали, как дезертира. Ушёл с передовой. Испугался. Сначала оглох от разрывов, а тут эти танки, и прямо ко мне, и грохот, и лязг! Я и сам не знаю теперь, как это случилось, и как в лесу оказался, не помню. Офицер меня сразу застрелить хотел, но пистолет дал осечку. Он в зубы мне этим же пистолетом. Всё равно расстреляют, сказал. Потом конвой. Зазевались они, и сбежал я. Вот, к Вам пришёл. Никого у меня нет, кроме Вас. Вы же знаете. Мы в детдоме мамой Вас называли. Помогите мне, мама! Сажу у вас в сарае на чердаке. Хорошо, что солома тут. Но холод ночью такой был, что думал уже выйти и сдаться. Пальцев на ногах почти не чувствую. Два дня ничего не ел. Хотя бы поесть дайте. А ночью я дальше пойду. Не знаю, куда. Всё равно расстреляют. Пишу Вам и плачу. Что я наделал! Ведь мне девятнадцать всего. Сергей Смирнов, Ваш воспитанник».

Зоя вышла из дома и оглянулась на сарай. За что это им? И что теперь делать? Но человек этот там... и плохо ему... и голод, и холод.

Только теперь заметила она у лестницы, ведущей на чердак сарая, следы.

Сунув письмо в карман пальто, Зоя побежала в райком. Мама её служила в райкоме помощником первого секретаря Морозова – человека волевого и жёсткого (при оккупации станицы командовал партизанским отрядом), но в грамоте слабого. До работы в райкоме четыре года была она воспитателем в детском доме, а потом и его заведующей.

Зоя поднялась на второй этаж и, увидев, что мама в кабинете одна, обрадовалась:

– Мамочка, ты только не волнуйся!

– Что ты, доча?! Что-то случилось?! С папой?! С Федей?! – Ольга Сергеевна переменилась в лице. – Ну, говори же!

– Вот, – Зоя протянула конверт.

– Это ужасно! – дочитав письмо, Ольга Сергеевна тут же убрала его в сумку и медленно опустилась на стул. – Ты, конечно же, прочитала?



Зоя заметила, что руки у мамы дрожат.

– Да! Я думала, это с фронта. Я не хотела...

– Говорила кому-нибудь?

– Ну, что ты, мам! Я... я всё понимаю... не думай.

– А ты понимаешь, что если я не выдам его, меня арестуют? И расстреляют, скорей всего. За укрывательство. А тебя в детдом отдадут! Это ты понимаешь?

– Да, мама. Но ведь никто не узнает. Никто! А ему там холодно, он ведь замёрзнуть может... совсем замерзнуть! Он твой воспитанник! Спасать его надо!

Зоя разрыдалась и кинулась матери на шею.

– Спасать... спасать... – смахнула набежавшие слёзы и Ольга Сергеевна. – Ладно, успокойся.

Вошёл Морозов:

– О! Что это тут происходит? С фронта... плохие вести?

– Нет-нет, Иван Иванович, из-за двойки это... Зоя двойку получила сегодня и плохо себя вела. В школу вот... вызывают.

– Вы это бросьте мне тут! Ишь!.. А ты, – он погрозил Зое пальцем, – ты прекращай мать расстраивать. Чтоб это в последний раз! Ясно?

– Угу, – Зоя закивала.

– Ольга Сергеевна, я на совещание. В Георгиевск. А вы тут смотрите, чтоб всё, как положено, было! Сегодня спецпочта. – Морозов потрепал Зою по плечу и вышел.

Оставшись одни, дочка и мать долго сидели молча.

– Мам, – Зоя вдруг оживилась и заговорила быстро, почти захлёбываясь, – а давай вот что... Давай мы пойдём к Симонову Семёну Михалычу и всё ему расскажем. Он человек военный. Военную форму носит. И он всё на свете знает! И с папой они друзья.

Ольга Сергеевна замахала руками:

– Что ты, бестолковая... что ты?! Симонов кто? – начальник районной службы госбезопасности! Он ловит врагов народа, предателей Родины, шпионов и диверсантов! И дезертиров тоже! А мы напрямик к нему?! Здаётся, мол, наше вам с кисточкой! Да если он, Симонов... если хоть как-то поможет нам, крышка ему! Никого не помилуют!

Зоя опустила голову и снова заплакала:

– А как же Сергей, мама? Он не виновен! Ты же читала письмо! Ну что же нам делать?!



– Мы не знаем, насколько виновен Сергей. Покинул фронт – уже виновен. Да ещё в бою сбежал!

– Он испугался! Теперь-то он понимает.

– Нам не легче от этого. А, знаешь, Зоя, права ты, пожалуй. И выхода другого, похоже, у нас нет. Расскажем Симонову. Пусть решает. Не только же «энкавэдэшник» он. Он же и человек ещё ко всему.

Бородулины и Симоновы дружили семьями, поэтому в кабинет к районному начальнику госбезопасности Ольгу Сергеевну с дочкой пропустили запросто.

– Ага! Делегация! – человек в майорских погонах поднялся и вышел из-за стола. – О! Это, что это? Да на вас лица нет! Случилось чего? С Фёдором Максимычем? С сыном?

– Семён Михалыч, у тебя говорить-то можно? – Ольга Сергеевна обеими руками встряхнула протянутую ей крепкую мужскую ладонь. – Дело у нас серьёзное.

– Говори, не бойся. Садитесь – Симонов выглянул за дверь и крикнул: – Меня ни для кого нет!

– Вот... Зоя расскажет. Давай, дочка!

Девочка рассказала о том, что приключилось с ней после школы, а Ольга Сергеевна, порывшись в сумке, достала и протянула Симонову конверт.

Тот взял его не сразу. Лицо его по мере рассказа всё больше становилось каким-то восковым, а пальцы, сцепленные в замок, стали вдруг неестественно белыми и сжались до хруста.

Дочитав письмо, он шумно вздохнул:

– М-м... да!.. Задал задачку парень. Всех нас втянул, получается. Но я вижу, ты хочешь выручить его? Так ведь, Ольга?

Ольга Сергеевна не сразу узнала в стальном этом тоне голос своего давнего знакомого и друга их семьи.

– Да, Семён Михалыч, хочу. Помоги ему! Только ты теперь это сможешь сделать. Все мы в твоих руках.

– Ладно тебе! Про руки хоть помолчи! Плохо, что Зоя твоя всё знает. Она ещё дитя неразумное. Не понимает, насколько серьёзно всё это. Жизни теперь на кону. Наши жизни! Кто-нибудь видел тебя с письмом? Говорила кому?

– Я разумная, Семён Михалыч! Никто не видел! – Зоя подняла на майора опухшее лицо и приготовилась опять разреветься. – И-и... всё я понимаю! И я никому!.. Не думайте даже!

– А ну-ка! Прекратить мне тут водные процедуры! В общем, так! Мне надо сначала с парнем поговорить, узнать обстоятельства,



а после этого уже и решение примем. А сейчас домой давайте. Как погуще стемнеет, и я подойду. И больше, чтоб ни одна живая душа! Ясно?

Ольга Сергеевна кивнула.

Дома было холодно. Запаса травы-сушняка почти не осталось. Да разве про запас её наготовишь? Сухостой, он как порошок. А в степь – уже поздно. Да и волки ещё, как стемнеет, к станции подходят.

На остатках сухостоя сварили немного картошки.

– Недоварилась маленько. Ну уж... какая есть, – Ольга Сергеевна отобрала три картофелины, достала из заначки «на чёрный день» кус сала. Отрезав от него половину, уложила с картошкой и хлебом в газету. – Вот, Зоя, снеси-ка ему. Под пальто спрячь, а оттуда пучок соломы возьми, будто за соломой ходила. И воды вот... – наполнила и протянула фляжку, подаренную кем-то из военных во время эвакуации.

Зоя вышла во двор и крадучись пробралась к сараю. Соседи с одной стороны – дед да бабка, с другой – солдатка с детьми малмала. И люди-то безобидные, в общем, но мало ли что. Поднялась по лестнице:

– Эй! Не бойтесь! Вы где? – тихо позвала Зоя и вдруг испугалась: «Брошу ему тут всё и скорее назад!» И следом: «Эх, ты, трусиха несчастная!» Позвала ещё раз: – Эй! Где вы?

Из темноты протянулась рука и схватила её за запястье.

– Тише ты, тише! Не бойся, здесь я... Господи, как же мне холодно!

Зоя отдернула руку:

– Вот, поешьте. А потом я опять приду. И будем все вместе решать, что делать. Пора мне... а вы подкрепитесь пока. И сами не бойтесь.

– Спасибо. Хорошая ты. И Ольгу Сергеевну мы очень любили, – парень осторожно взял Зою за руки и притянул ладонками к своим щекам.

Щёки были мокрыми и очень холодными.

Неловко освободившись, Зоя прыгнула вниз и поспешила к дому. «Про солому-то забыла! Вот же растяпа!»

– Ну что? Там он? – брови у Ольги Сергеевны сдвинулись, образовав на лбу глубокую поперечную складку. – Ну! Говори же!



– Ой, мамочка, как же мне его жалко. Совсем замёрз. Он даже говорит уже медленно.

– Сам виноват. И некого тут винить.

– Так он и не винит никого, мам.

Ольга Сергеевна помолчала и вдруг улыбнулась:

– Мальчишкой в детдоме Серёжка задиристый был. Но добрый, а главное – честный. Литературу любил. Лермонтова особенно. Все книги в библиотеке перечитал. Историю тоже... М-да... А математику – нет! Не шла математика. Сидели с ним вечерами на пару... решали. Но смыслённый он был... всё равно смыслённый. Давай-ка и мы по-вечеряем, дочка. Как говорится, чем бог послал.

– Мам, что ты?! Бога же нет!

– Нет, конечно. Но я-то когда родилась, был ещё. Вернее, не знали тогда мы, что нет его. Оттуда и все мои присказки. Не обращаю внимания. Поешь, давай. Хорошо ещё, что свет у нас есть, – Ольга Сергеевна щёлкнула выключателем. – Отстояли электростанцию. Не дали взорвать. Партизаны наши, с Морозовым во главе. Бой завязали, немцы и отступили. Взрывчатку потом выносили. Два ящика взрывчатки было.

Ужин запивали чуть тёплым кипятком.

Симонов вошёл без стука. Притопнул, оставив под сапогами бороздки снега.

– Ох, и темень на улицах! Ни одного фонаря! Ну, ничего, наведём порядок! Верно я говорю, Оля?

– Верно, верно... Ты проходи, Семён Михалыч. Холодно у нас. Не раздевайся. И извини уж, чая не предлагаю. Согреть нечем.

– Ладно с чаем. Перебьёмся! Где он, беглец-то ваш?

Симонов улыбнулся. Было заметно, что он уже что-то придумал – так не похож был этот уверенный в себе человек на того побледневшего в служебном кабинете майора.

– Сейчас, Семён, сейчас... Сходи за Сергеем, Зоя, – Ольга Сергеевна подвинула гостю стул.

– Ты аккуратно. Осмотрись сначала. И чтобы... ни соседей... ни прохожих, – Симонов наклонился и жёстко глянул девочке в глаза. – Ты понимаешь?!

– Я аккуратно. Вы даже не думайте. Я же взрослая.

– Да уж, не по годам. Ну... с богом!

Зоя выскользнула за дверь. А через несколько минут она уже таянула через порог солдата с приставшей к его шинели соломой.



– Вот он!

Увидев человека в военной форме, тот бросился было назад, но, сбитый ударом в плечо, осел. Прикрыв руками голову, захрипел:

– Не бейте! Сдаюсь!

– Дурак! Чего ты орёшь?! Цыц! – Симонов, ухватившись за шинельку, втащил дезертира в комнату. – Садись и не бойся!

Затравленно озираясь, солдат угнезвился на табурет. Увидев свою бывшую воспитательницу, потянул было руку, но тут же и уронил:

– Ольга Сергеевна, зачем вы так?! Вы же мама?! – говорил он неестественно медленно, растягивая слова, как пьяный.

– Сергей, успокойся! Совсем ты, бедняга, замёрз. А мне и согреть тебя нечем. Эх, ты! – Ольга Сергеевна подошла к нему ближе и, обняв за голову, прижала к груди. – Мальчишка ещё. А уже и воин! Уже и дел натворил.

Сергей успокоился и прикрыл глаза.

– А Семёна Михалыча ты не бойся. И не смотри, что в форме. Это наш друг. И мы теперь вместе все думать будем, как тебе помочь. Ты слушай, главное, что он скажет, и делай. Как скажет, так и делай. А сапоги снимай. Немедленно! Я тебе сейчас новые портянки нарежу. Теплей всё будет.

Вынув из комода портняжные ножницы, Ольга Сергеевна вышла в соседнюю комнату. Симонов раскурил папиросу и, щурясь от дыма, рассматривал беглеца:

– Ну! Теперь уж в подробностях. Всё, как было. И смотри без вранья чтобы. Почувствую, что врёшь, – всё! – майор рубанул рукой, – разговор окончен! Ясно?!

Сергей начал сбивчиво, с дрожью. Однако по мере повествования голос его всё больше выравнивался. Было занятно, что этот сбегавший солдатик не просто владеет словом, но даже умеет через мелкие подробности высветить главное.

Зоя сидела в углу и чувствовала, как быстро колотится у неё сердечко. Когда же она невольно всхлипнула, Симонов тихо, почти по слогам, сказал:

– Ты это... парень, на жалость-то не дави. По существу давай!

Выслушав рассказ до конца, он спросил у беглеца номер его части и примерное её расположение. Тот ответил. «Кто командир?» Назвал.

– А тот офицер, который... ну... пожалел тебя, в общем, он ваш? Строевик?



– Не думаю. Нет! Скорей всего, «СМЕРШ». А может, заградотряд. Не знаю, товарищ майор, я точно не знаю!

– Товарищ... товарищ... – Симонов опять закурил и выдохнул дымом. – Гусь свинье не товарищ. Это тебе хоть ясно?

– Так точно! Това... гражданин... я не знаю, как правильно, – паренёк вскочил, оправляя шинельку, и тут же сник, неловко переминаясь босыми ногами по полу.

– Эх, ты! Воин... мать твою! Садись уж...

Вошла Ольга Сергеевна и протянула бойцу отрезки фланели:

– Вот... обувайся, что ли. И успокойся. А ты не пугай его, Семён Михалыч. И без того уже стреляный он.

– Не пугай... не пугай. На фронте я бы и сам его расстрелял. Рука бы не дрогнула. Да что уж тут чепуху-то молоты! Ладно! Зоя, ты выйди во двор и смотри, чтобы никто сюда не зашёл. Пока мы тут решать будем. Ольга Сергеевна, одень-ка её потеплее. Замёрзнет ещё, не дай бог, чадо твоё.

Уж очень хотелось бы Зое остаться, послушать – о чём они говорят. Да разве поспоришь. Хмыкнула было...

– Давай-ка, дочка! Давай! – подтолкнул её Симонов к двери. – Не в куклы играем! Ещё неизвестно, что будет... и будет ли.

Говорили долго. Раз двадцать за это время Зоя выглядывала за калитку. Но улица была пустынная, и только бездомная псина, а может и чья-то, скулила неподалёку.

Ну вот наконец-то вышли. Симонов шагал впереди. Сергей – чуть поодаль. Зоя сделала вид, что зашла в дом, но, выскочив, устремилась следом. А что если всё это был спектакль? Для них – для неё и для мамы. И Симонов Сергея всё-таки арестует?

– Сюда! Сюда! Скорей! – майор потянул солдата в тьму, к разрушенному бомбой дому. – До следующей ночи побудешь здесь. Подвал тут. Хороший подвал. Тебе в нём не так уж и холодно будет. И чтобы ни звука, ни грока мне! Понял?

– Есть – ни звука!

– За день документы выправлю, а ночью заеду. До фронта километров сто... сто двадцать. Так что успеем. А там, как возьмут тебя в клещи, про всех нас забудь. Слышишь, забудь! Хоть слово выдавят из тебя, и конец нам! Погибай, но молчи!

– Есть – погибать! Есть – забыть! Това...

– Цыц! Слушай! – зашипел Симонов. – Скажешь, в лесу был. А как оказался там, не помнишь. Бомбили. Контузия... лёгкая. Потеря



памяти. Так и тверди. Выучи и тверди! Как молитву! Как «Отче наш»... Усёк?!

– Товарищ майор, я не знаю молитв.

– Ха! Дурак, он и есть дурак! Ладно, спускайся. А я тебя сверху чем-нибудь приваляю пока. Еду и тёплое одеяло принесу. Жди! Если до утра не появлюсь, уходи. Сам. В сторону фронта. Не сопи! Полежай! Легенда та же – бомбёжка, контузия... дальше не помнишь, потеря памяти. И к Ольге Сергеевне чтоб – ни ногой!

О чём они говорили, Зоя почти не слышала, но теперь она точно знала, что Симонов Сергея не арестует и можно бежать домой.

Симонов зашёл через день и, снова попросив Зою выйти, повёз Ольгу Сергеевну о том, как вёз её воспитанника к самому фронту; как несколько раз останавливал их патруль, но, увидев документы майора госбезопасности, тут же и отпускал, поясняя, как следовать дальше; как благодарил его Сергей; как клялся, что ни словом и ни «полусловом» не обмолвится он ни о них, ни о станице Советской.

...Закончилась война. И мужа, и сына дождалась Ольга Сергеевна. Вернулись и, как будто с нуля, зажили. Говорят, повезло. Недождавшихся, сколько их?! Кто посчитал бы... А сын-то израненный весь. Но ничего, жив – да и ладно.

Год 1951-й. Симонов уже подполковник. На повышение в Пятигорск «ушёл». Встретившись с Ольгой Сергеевной на одном из совещаний «актива», отвёл её в сторону:

– А что, Оля, писал тебе наш дезертир? Сергей, кажется?

– Было письмо. Одно, правда. В сорок шестом ещё...

– О чём же? Не помнишь?

– Как же не помнить, Семён Михайлович? Помню, конечно. Писал, что в штрафбате три месяца был. Потом ранение. Госпиталь. И снова на фронт. Но не в штрафбат уже. Что воевал героически – два ордена и медали ещё. До Вены дошёл и снова был ранен. Легко в этот раз. На Дальний Восток потом его часть перебросили. Повоевал и там. Там же и на сверхсрочную остался. Благодарил. Спасибо, мол, что поверили. Так вот! Ответила я. Коротко, правда. Не отозвался больше.

– Хороший расклад получается, Ольга Сергеевна! – Симонов улыбнулся. – А может быть даже... и самый лучший! Не зря мы рискнули, выходит.

...Никому и никогда не рассказывала Зоя эту историю. И только через семьдесят лет – мне, своему сыну.



ДЕДУСЕНКО
Идиллия Владимировна
Ставрополь

ДОРОГА

Отрывок из повести «Жаворонки ночью не поют»

Чем дальше уходила дорога, тем чаще Зойка оглядывалась назад, туда, где остался родной Георгиевск. Когда она теперь увидит маму, брата Юрку, бабушку? Она даже не попрощалась с ними, отправилась в эвакуацию вместе с детдомом тайком от родных, потому что знала: мама не отпустит. А она не могла оставить детей, за которых теперь отвечала. Ей, шестнадцатилетней девчонке, только что окончившей девятый класс, доверили самых маленьких, потому что настоящих воспитательниц не хватало. Ну не могла она их бросить! Тем более, что все остальные отказались ехать в Среднюю Азию.

Показался Моздок. Бомбёжки катились за ними следом и, хотя не настигали, всё же страх разрушал стройность колонны. Одна лошадь повредила ногу и теперь спотыкалась на каждом шагу. Коровы, следовавшие за обозом, грозили упасть посреди дороги.

Директор детдома Андрей Андреевич глянул на часы: половина первого. Все устали от жары и долгой дороги. Хотели уйти как можно дальше, поэтому останавливались лишь изредка на полчаса, чтобы перекусить, дать отдых лошадям, подоить коров. Ехали даже ночью. Спали, прижавшись спинами друг к другу. Да разве это сон? Зойка то и дело вздрагивала и смотрела, не упал ли кто из ребят.

Андрей Андреевич уже давно молчал и, казалось, о чём-то думал. Ждали, что он сделает остановку в городе, но обоз миновал последнюю улицу, а директор всё сидел безучастно поверх шерстяных одеял и молча смотрел перед собой. Сразу за городом показалась большая роща. Все с надеждой смотрели на директора.



Костя из старшей группы, управлявший первой подводой, обернулся к Андрею Андреевичу:

– Свернём?

Тот глянул на рощицу и кивнул. Все оживились. В роще было довольно прохладно и тихо. Её перерезала небольшая речушка, чистая и светлая. Ребята кинулись к ней, с наслаждением пили прозрачную воду, обмывали лица, руки, ноги. Зойка тоже плескалась вместе с ними. Андрей Андреевич молча стоял в стороне и ни на кого не смотрел, он опять о чём-то думал. Как видно, решившись на что-то, сказал:

– Поеду в город. Вы пока отдыхайте, вернусь, будем обедать!

Скоро директор вернулся. На повозке рядом с ним сидели трое мужчин и две женщины. Они рассыпались вдоль обоза, щупали и разворачивали вещи, с особенным интересом – шерстяные одеяла и постельное белье, пробовали с пальца муку и масло. Потом мужики зарезали корову, и она варилась в трёх огромных кастрюлях на кострах. Все сели на траву и ели только что сваренное мясо. Андрей Андреевич распорядился также выдать по большому куску хлеба с маслом. Изголодавшиеся дети ели с превеликим аппетитом, но Зойке почему-то было не по себе от такой щедрости директора. Сам он, мужики и женщины сидели под огромным дубом. Никогда прежде Зойка не видела, чтобы Андрей Андреевич пил, а тут, в присутствии ребят, он сидел в компании пьяных мужиков и без конца подливал себе вина в стакан.

– Зоя Дмитриевна, идите к нам, – пригласил он, протягивая ей стакан с вином.

– Мне некогда! – резко и брезгливо ответила Зойка.

– Я, кажется, здесь ещё директор! – опьяневший Андрей Андреевич старался говорить внятно. – Я вам приказываю!

Он ужасно раздражал Зойку, ей было стыдно за него перед детьми, которые молча наблюдали за происходящим. Чтобы не слышать и не видеть его, Зойка встала и пошла вдоль речушки. Директор догнал её очень скоро. Обоз отсюда был не виден, только слышался громкий говор пьяных мужиков и баб. Услышав шаги за спиной, Зойка быстро обернулась. Андрей Андреевич остановился около неё, усмехаясь. У Зойки душа дрогнула под его взглядом, но она, ничем не выдавая своего беспокойства, стояла перед ним с независимым видом. Он тихо рассмеялся, раскинул руки, загораживая ей дорогу.



– Что вам от меня надо? – резко и требовательно спросила Зойка.

– Или всё, или ничего, – ответил директор и засмеялся, и этот гаденький смешок неприятно поразил Зойку.

– Вы пьяны, – сказала она, – не понимаете, что говорите. На вас дети смотрят!

– Пусть смотрят, – сказал он. – А ты – глупенькая. Неужели не понимаешь, что мы с этим обозом далеко не уйдём? Нас или разбьют, или схватят немцы. Они уже... в затылок нам дышат! Меня расстреляют – директор! Тебя, комсомолку, повесят. Но прежде отдадут на потеху солдатам.

– Врёте вы всё!

– Нет, моя, – в голосе директора теперь звучала откровенная злоба, – не вру. Но я подышать не намерен. Ну, вот что я предлагаю. Оставим их здесь, а сами уедем. Вдвоём мы отсюда быстренько выберемся. Деньги есть, не пропадём. Ну, решайся! А они... Их люди разберут. Наши люди жалостливы.

Он намеренно сказал «их», чтобы уже окончательно отстранить себя от ребят. Зойка была так изумлена, что не могла вымолвить ни слова. Она только понимала, что происходит нечто ужасное, низкое, гадкое, и при этом в её лице хотят найти союзницу, вернее, сообщницу. Андрей Андреевич принял её растерянность за раздумье и потропил:

– Да чего тут решать? Садись в повозку. А на них не смотри, если совесть мешает.

Зойка наконец опомнилась. Вот когда жизнь потребовала от неё серьёзного самостоятельного решения.

– Вы просто выпили лишнее, Андрей Андреевич, – как можно спокойнее сказала она. – Вы не можете их оставить. Не смеете. А если уедете, я останусь с ними.

Она стремительно проскользнула у него под рукой и пошла к ребятам. Дети настороженно смотрели на неё и молчали. Следом появился Андрей Андреевич. Завидев его, мужики и бабы наперебой закричали:

– Давай рассчитываться, хозяин!

Директор, не глядя на Зойку и ребят, принимал от мужиков деньги, пересчитывал их и, складывая, рассовывал по карманам. «Купцы» увели мажару с мукой, подводы с продуктами и вещами и



двух не съеденных коров. В роще осталась только одна телега с вещами, куда директор положил и кое-какие продукты. Зойка стояла довольно близко от него и пыталась поймать его взгляд, всё ещё не веря в самое худшее. Может, он так неудачно пошутил, думала она, а теперь осознал это и сейчас предложит всем дойти до железнодорожной станции и дальше ехать поездом? Но Андрей Андреевич ни на кого не смотрел, продолжая собираться. Наконец он взялся за вожжи и обернулся к Зойке. Они стояли лицом к лицу, и Зойка видела, как дергались в мелких судорогах его губы, щёки, а во взгляде, всегда бесстрашном, она заметила плохо скрываемый испуг. Зойка, усмехнувшись, медленно и гордо подняла голову: он боялся её, этот надменный и ничтожный человек. Боялся и собственного поступка, за который когда-нибудь придётся отвечать. Но страх ещё больший, страх перед возможной гибелью от немецкой бомбы или пули гнал его сейчас вперёд без оглядки, заставляя идти на преступление, и он не мог справиться с этим страхом. Андрей Андреевич отвернулся и прыгнул на телегу.

Дети, кажется, догадывались, что происходит, но по-прежнему молчали. Зойка подошла сзади к телеге и, не говоря ни слова, сбросила на землю два шерстяных одеяла, затем подцепила руками три или четыре полотенца. Директор будто и не замечал этого, поправляя что-то на возу и устраиваясь поудобнее. Наконец, не оборачиваясь, резко взмахнул кнутом. Лошадь дёрнулась и с места помчалась рысью, так что Зойка не успела схватить ещё хотя бы одно одеяло или полотенце.

Кажется, прошла целая вечность, а Зойка всё стояла и смотрела вслед укатившей телеге. Он всё-таки посмел их бросить. Теперь, кроме неё, принимать решения некому. Зойка приказывала себе: «Спокойно!» Она пыталась скрыть от ребят свою растерянность, мысленно задавала себе один и тот же вопрос: «Что делать?» У них нет ни лошадей, ни подвод, ни продуктов, ни денег, ни документов. Есть воля к жизни, с нею и придётся отправляться в путь. Зойка повернулась к ребятам, они напряженно ждали, как поступит она. Дети должны поверить в неё. Зойка выпрямилась и спокойно распорядилась:

– Собрать остатки хлеба. Мясо тоже положить в рюкзаки. Всё, что у нас есть, пересчитать.

И это простое «у нас» прозвучало магически: ребята поняли, что она с ними, и кинулись исполнять её распоряжения.



– Костя! Люда! – позвала Зойка старших воспитанников. – Нина, ты тоже! Я очень надеюсь на вашу помощь. Нам нужно добраться до Баку. Сегодня будем ночевать в роще. Хорошо отдохнём, а утром пораньше отправимся дальше.

Вот и пригодились одеяла. Их расстелили на остывающей земле и уложили самых маленьких и слабых. Зойка, кажется, никогда не спала так крепко. Едва рассвело, все были уже на ногах. Собрались за пять минут. Одеяла и полотенца скатали, пальто надели на себя. В два рюкзака уложили остатки пищи. Несколько сообразительных ребят ополоснули оставшиеся от вина бутылки и, наполнив их чистой водой из речушки, снова заткнули кусочками сломанных пробок, обрывками бумаги.

– Нина! Костя! – скомандовала Зойка. – Построить всех и пересчитать!

– Один, два... – начал Костя и скоро доложил: – Все девяносто пять!

– Ни один не выходит из строя без разрешения! – Зойка была очень строга. – Поняли? Костя и Люда, идите по бокам колонны. Нина, ты замыкающая. Всё. Пошли!

Они шли так бесконечно долго, что уже забыли, как начался для них этот страшный день. Останавливались всего два раза, чтобы наскоро поесть и немного передохнуть. По дорожным знакам определили, что позади осталось двадцать семь километров! Всё труднее становилось держать строй: слабые спотыкались, падали, отставали. Их поднимали, выжидали минут пять-десять, пока они чуть-чуть отдохнут, и двигались дальше. Солнце уже клонилось к закату, когда к Зойке подошел Костя:

– Зоя Дмитриевна, вы слышите? Гул... Они летят.

Почти в ту же секунду его услышали и дети. Они стали беспокойно оборачиваться и изо всех сил старались идти быстрее. Вскоре где-то позади раздалась первые взрывы.

– Быстрее, быстрее! – крикнула Зойка и рванулась вперёд.

Дети и сами понимали, что надо спешить. Они почти бежали, а гул самолётов становился всё ближе. «Не уйти!» – осознала Зойка.

– Бегите подальше от дороги, вон к тем кустам! – крикнула она.

Дети бежали к чахлым кустикам и один за другим бросались на землю, прижимаясь к ней измученными телами. Дорога вмиг стала шумной. По ней стремительно проносились грузовики, «газики», подводы. Всё это устремилось на юг, а с воздуха, преследуя их, ле-



тели бомбы. Но вот гул отодвинулся, укатил вместе с последними машинами. Зойка поднялась. Начали вставать и ребята.

– Никто не ранен? – беспокойно спрашивала Зойка – Становитесь в строй.

Ребята были живы и невредимы. С перепачканных лиц уже начал сходить испуг. Все молча и поспешно двинулись дальше. Зойка подбадривала детей:

– Ребята, милые... Ну, ещё немного. Скоро отдохнём. Должны же быть где-то люди, какое-нибудь жильё. Только не падайте, не оставляйтесь, прошу вас!

Её остановил Костя. Он повернул голову к просёлочной дороге, откуда доносился гул моторов, спросил:

– Зоя Дмитриевна, вы слышите?

Зойка посмотрела в ту сторону и вскоре увидела, что к тракту приближается вереница машин. Колонна и машины сошлись на перепутье. Из первой вышел майор и, даже не удивившись, что видит на дороге такую массу детей, спросил:

– Кто здесь главный?

– Я, – Зойка сделала шаг вперёд.

Майор с досадой смотрел на Зойку, которая придерживала обеими руками сильно помятое платье. «Не верит», – устало подумала она, но твёрдо повторила:

– Руководитель я.

Майор стал расспрашивать, кто они, откуда. Выслушав Зойку, он сказал:

– Мужайся, дочка, война... И принимай пополнение. У нас двадцать девять девочек из Будённовского детдома. Мы их на дороге после бомбёжки выбрали. Остальные погибли, руководители тоже. Так что прими и береги, как своих. Мы их дальше этого перекрестка везти не можем.

Девочки сошли с машин и несмело пристроились к колонне. Костя снова всех пересчитал.

– Сто двадцать четыре! – объявил он.

Майор с жалостью оглядел ребят, снял фуражку и, склонив голову, сказал:

– Простите, дети...

Они молчали, не понимая, почему он это говорит. А майор, крепко стиснув зубы, едва заметно покачивал головой, не в силах спра-



виться с волнением. За год с лишним их часть прошла от Днепра до Северного Кавказа. Где с боями, а где и просто так, выполняя приказ об отступлении. Они похоронили уже сотни своих товарищей и привыкли к смерти, к виду разрушенных домов, сами взрывали за собой мосты и переправы. Но нигде чувство вины за неудачи и отступление, вины, копившейся всё это время, не проявилось такой осознанной болью, как при виде этих измученных детей, в глазах которых не было и тени упрёка. Майор наконец поднял голову и сказал:

– Скоро будет селение, вы там отдохнёте. Идите к железной дороге, там вам помогут сесть на поезд.

По его знаку бойцы вытащили из своих запасов несколько буханок хлеба и с десяток банок с консервами, после чего колонны разошлись.

...Зойка давно ничего не чувствовала: тупая тяжесть охватила всё тело. Дети едва волочились за ней. Даже крепкий, выносливый Костя с трудом переставлял ноги. Они, пройдя несколько селений, где их угощали лепешками, теперь уже третьи сутки не ели. Впереди показалась железнодорожная станция, и колонна устремилась туда. Дежурный по станции, выслушав Зойку, с удивлением сказал:

– Ты с луны свалился, дэвичка? Нэ знаэш – война! Эшелоны на фронт нэ могу отправить. Два сутки стоят. Это, знаэш что? Мине уже к стенка нада ставить! А гдэ я вагоны возьму?

– Нам есть нечего! – крикнула Зойка.

– Эсть нечего? Кушать?

Дежурный постоял в раздумье, потом сказал:

– Пачэму я тибе должен взэрить? Проезжали здэсь из дэтдома, у них вагоны, дакумэнты. А у вас гдэ дакумэнты?

Зойка опять принялась объяснять, как они оказались без денег и документов, но история эта была настолько невероятной, что дежурный, слушая, недоверчиво качал головой. Тогда Зойка схватила его за рукав и настойчиво потащила к двери.

– Вот смотрите! – сказала она. – Читайте сами, сколько их!

Ребята грустно и устало смотрели на дежурного. Он опешил, увидев больше сотни оборванных и измождённых мальчишек и девочек, которые стояли непривычно тихо. По их виду, по лихорадочному блеску глаз нетрудно было догадаться, что они действительно сильно голодны. Зойка торопливо полезла в карман:

– Ой, вспомнила! Такие документы сгодятся?



Она достала комсомольский билет и один из двух листков со штампом детдома, которые перед уходом прихватила, чтобы написать письма. Дежурный взял листок, с уважением посмотрел на него и комсомольский билет и пошёл к телефону.

– Слушай, Патимат, – сказал он, набрав номер.

Дальше разговор шёл на незнакомом Зойке языке. Дежурный в чём-то горячо убеждал Патимат, изредка вставляя русские слова:

– Кто будэт платить, кто будэт... Чудачка ты, Патимат! Мы с тобой заплатим... У нас с тобой четверо. Прэдставь, что это они...

Дежурный ещё что-то говорил жене, а потом закончил по-русски:

– Маладэц, Патимат! Они сэчас к тебе придут.

Он положил трубку и, подозвав Зойку, подал огрызок карандаша.

– Садысь за стол и пиши, – сказал он. – Пиши: «Палучила в жэлезнодорожном рэстаране от Патимат Газалиэвой двадцать буханок хлеба и пять кило варэня». Написала? Распишись. Колчанова? Хорошо. Тэпэрь иди и палучай. А вагонов нэту, дэвичка. Идитэ па рэльсам. Нэ сабыётэсь. Нэ бойся, дэвичка, ви же на савэцкой земле, люди памогут.

Хлеб с вареньем они ели на берегу моря, в котором и искупались. Неподалеку из-под земли торчала труба, из которой лилась чуть тёплая вода. Ею запивали вкусные бутерброды.

Лёжа на тёплой гальке, Зойка расслабилась, и перед глазами поплыли родные лица мамы, бабушки, Юрки и... Лёни. Он появился в их школе со второго полугодия, после зимних каникул, и как-то сразу выделился среди ребят своего 10 «А». Лёня быстро сошёлся со всеми, и это он принёс Зое, когда она заболела воспалением лёгких, драгоценные ампулы с пенициллином, которые дала его мать, врач военного госпиталя. С тех пор этот высокий мужественный паренёк часто появлялся в их доме, а весной стал водить Зойку по утрам за город, в поле, где они садились на траву и слушали жаворонков. Зойка так явственно представила всё это, только сейчас песни жаворонков почему-то лились с совершенно чёрного неба. Но ведь Лёня говорил, что жаворонки ночью не поют! Зойка вздрогнула и... проснулась. Где он сейчас? После окончания школы ушёл на фронт, прислал одно письмо с адресом полевой почты. Написать бы ему, рассказать обо всём.



Зойка достала листок и, расправляя его, с улыбкой смотрела на детей. Многие из них первый раз в жизни видели море. «Только чем же я буду их кормить, когда мы съедим оставшиеся десять буханок?» – подумала она, и рука с огрызком карандаша замерла над листком: ведь он может ещё пригодиться, когда им совсем нечего будет есть. Зойка свернула листок и снова зашпилила карман. В дорогу отправились, как никогда, весело, но с каждым днём идти становилось всё тяжелее... Казалось, они идут вечность.

– Костя, посмотри на столбик, сколько ещё километров до Баку?

Костя прошёл вперёд, к верстовому столбу, крикнул оттуда:

– Пять! Пять километров!

– Ещё пять километров!

Это почти день пути. С тех пор, как они постоянно голодают, им не удаётся пройти больше. Приходится часто делать привалы, потому что то и дело кто-то теряет сознание. Уже больше недели они идут по безлюдью. Только рельсы да шпалы, от которых нельзя оторваться, страшно потерять дорогу. Свернёшь в сторону – и неизвестно, хватит ли сил вернуться обратно. А железная дорога обязательно приведёт в Баку. Вот и идут, никуда не сворачивая. Иной раз набредают на дику яблоню или грушу, на какие-то ягоды, на остатки кукурузного или картофельного поля, только потому ещё и живы. Уже истоптаны и выброшены все ботинки, потеряны все пальто, полотенца и одеяла – ни у кого не было сил их нести. По очереди несли от Махачкалы самую драгоценную вещь – бутылку из-под варенья, которую наполняли водой из какого-нибудь ручейка.

– Ну! Вперёд! Родные мои, золотые дети. Только не останавливайтесь, прошу вас. Баку уже близко. Надо дойти.

Зойка говорила тяжело, прерывисто, задыхаясь при каждом шаге. Дети понимающе смотрели на неё и делали ещё несколько шагов. В город так и вошли, по шпалам. Остановились около привокзальных зданий. Проходивший мимо рабочий с удивлением оглядел детей, которые неизвестно откуда взялись, да ещё в таком количестве. Зойка обратилась к нему:

– Скажите, пожалуйста, где эвакупункт? Детдом эвакуируется.

– Идите в порт, там эвакупункт. Обращайтесь прямо к Амирову.

«Амиров, Амиров», – повторяла Зойка, чтобы запомнить фамилию. Она не знала, кто это, но понимала, что от него зависит их судьба.



ба. Значит, надо сегодня же его найти. День ещё не кончился, когда они пришли в порт, и солнце продолжало жечь. Зойка усадила детей под стеной дома, где было немного тени, и приказала не двигаться с места. Она осмотрела и ощупала своё платье – сплошные дыры. Как в нём идти к Амирову? Нина Трубникова, немного помявшись, сняла с себя вязаную кофту, которая выглядела чуть получше. Зойка благодарно кивнула, накинула кофту поверх платья и, преодолевая слабость, пошла к большому белому зданию, которое осаждала огромная толпа, похожая на единый организм, исторгавший крики, просьбы, стенания. Здесь никому ничего невозможно объяснить. Зойка держалась только на одной мысли: надо пробраться к заветной двери. Кажется, есть один способ. Зойка опустилась на четвереньки и стала проползать между ногами. Её пинали, старались вытолкнуть, наступали на руки, а она всё ползла. Наконец добралась, но милиционер открывал дверь только для счастливиц, у которых были пропуска. «К товарищу Амирову по коридору направо, третья дверь», – направлял он их. Быть так близко у цели и вернуться ни с чем? Нет, это невозможно, дети перемрут за ночь. И Зойка решительно обратилась к милиционеру:

- Мне надо к Амирову.
- Пропуск.
- Нет у меня пропуска. Но мне надо к Амирову!
- Всем надо к Амирову, – нетерпеливо сказал милиционер. – Не мешай, девочка.

Зойка поняла, что препираться бесполезно. Ему ведь ничего не объяснишь, когда со всех сторон напирает такая толпа. Эх, была не была! Зойка юркнула под рукой милиционера и схватилась за ручку двери.

– Ты куда?! – крикнул милиционер и потянул Зойку за кофту.

Кофта с треском порвалась и осталась в руке стража порядка, но Зойка всё-таки вырвалась и шмыгнула в дверь. Боясь, что он нагонит её и вышвырнет отсюда, она побежала по коридору, насколько хватало сил, помня, что нужна третья дверь направо. Остановилась только перед табличкой: «А.Г. Амиров». Зойка ворвалась в кабинет и сразу увидела его за столом. Вдоль стен сидело множество других мужчин, но Зойка поняла, что тот, за столом, и есть Амиров. Он удивлённо глянул на странное существо, так неожиданно ворвавшееся в его кабинет, и ещё не успел ничего сказать, как Зойка крикнула:



– Товарищ Амиров, я к вам!

– Кто тебя послал? – удивлённо спросил Амиров.

– Никто. Я сама прорвалась. У меня дети, товарищ Амиров!

– Дети? – Амиров был поражён. – А тебе самой сколько лет?

– Шестнадцать!

– И...и...уже дети? Сколько?

– Сто двадцать четыре!

Амиров недовольно дёрнул плечом:

– Слушай, девочка, ты что мне голову морочишь?

– Товарищ Амиров, я веду детей из детдома. Эвакуируемся мы. Пожалуйста, выслушайте меня и помогите, иначе мои дети умрут этой же ночью от голода!

– Говори! – разрешил Амиров.

Зойка удивлялась, откуда у неё взялись силы. Она говорила, не останавливаясь, торопилась рассказать всё, чтобы те, кто сидит в этой комнате, а прежде всего сам Амиров, поняли её, поняли, как нужна помощь детям. В доказательство она отстегнула карман, вытащила комсомольский билет, оставшийся листок со штампом детдома, который больше так нигде и не пригодился, и положила перед Амировым.

– Правильно, ваш детдом должен был пройти через наш эвакуопункт. Но ещё в начале августа. Как вы запоздали!

– Но мы же... пешком. Полтора месяца!

– Да, да, – задумчиво сказал Амиров. – Но это... непостижимо!

Он подошёл к Зойке, легко поднял её, держа под локти, и повернул несколько раз, словно хотел, чтобы все хорошенько рассмотрели эту девочку.

– Смотрите, – сказал Амиров. – Дитя привело детей. Тысячу километров пешком! Ничего не испугалась. Сто двадцать четыре жизни сохранила! Вы понимаете это? Сто двадцать четыре жизни! Смотрите на эту девочку – перед вами настоящая героиня!

Амиров опустил Зойку на пол. В глазах у неё было темно от головокружения. А сердце бешено и гулко колотилось от радости: теперь они спасены! Амиров нажал на кнопку. Вошёл человек. Амиров приказал:

– Накормить детей и сегодня же посадить на пароход до Красноводска.

– Сколько ребят?



– Сто двадцать четыре.
– Очень много. Невозможно сегодня, товарищ Амиров.
– Для них не может быть ничего невозможного! Найдите место хотя бы на барже.

Амиров достал из стола две картонки и подал Зойке:

– Вот по этой вам дадут здесь супа и хлеба. А по этой в Красноводске на морском вокзале получишь пятнадцать тысяч рублей. Это вам на дорогу до самого места. И не экономь, корми детей хорошенько, и так наголодались.

Вторую картонку Зойка спрятала в карман, а по первой они получили два ведра супа в столовой около порта. Когда стали разливать по оловянным мискам, оказалось... ровно сто двадцать четыре порции. Глядя на свою пустую чашку, Зойка теперь только поняла, что она нигде не назвала себя, сто двадцать пятаю.

– Эх, что ж ты так, – сокрущённо сказал мужчина, который принёс ведра с супом, – больше ничего не дадут, у нас строго.

Первыми встали Костя и Люда, за ними – остальные. Дети, привыкшие в пути делиться всем по-братски, и на этот раз не начинали есть, пока еду не разделят всем поровну. Они сидели и ждали, когда последнюю порцию супа перельют из ведра в чашку. Увидев, что миска Зои Дмитриевны пуста, каждый подходил и отливал из своей ложку супа. Скоро чашка была полна почти до краев, а те, кто ещё не успел перелить свою кроху в миску Зои Дмитриевны, толпились около, не начиная есть, и Зойке стоило немалого труда уговорить их приступить к еде.

Наконец все расселись и начали есть. Зойка закусила губы, боясь разреветься у всех на глазах. Если бы можно было поставить пробу на каждом сердечке, она поставила бы самую высокую. Потому что никакими словами невозможно выразить, какие это замечательные дети. В тот момент яснее, чем когда-либо, ей представлялась совершенно чудовищной мысль о том, что их можно бросить. Зойка, отвернувшись в уголок, принялась есть, а крупные солёные слёзы капали в миску с супом.





ДМИТРИЧЕНКО
Валентина Гапуровна
Невинномысск

СЫН ПОЛКА

Мой дядька – сын полка
С седой мохнатой бровью –
Кряхтит, но жив пока –
Дай Бог ему здоровья!
Прошёл он сто дорог,
Все тяготы изведаль.
До кирзовых сапог
Дорос ко дню победы.
И грел его, как брат,
В лесах, в снегах, в болотах

Тяжёлый автомат
Почти четыре года.
Вернулся он домой
Худой и однорукий,
Но всё-таки живой
На зависть всей округе.
Черёмуха цвела
В его лесной сторонке...
А мама умерла
На третьей похоронке.

ВОРОНКА

Лесная тропиночка узкая
По кромке цветущей весны...
Святая земля белорусская
Вся в шрамах минувшей войны,
Поросшая синей осокою,
Да клевером, да лебедой.
От взрыва воронка глубокая
Наполнена талой водой.

И я наклоняюсь над тихую
Воронкою с илистым дном,
И вижу: карась с карасихой
Обжили воронку давно...
Неужто мне это не грезится –
По краю воронки – цветы...
Не терпит природа-кудесница
В себе никакой пустоты.



ВЕЗУЧИЙ

Возвращался невредимым
Без регалий и наград,
До костей пропахший дымом
В свой родимый дом солдат.
Невредимый. Редкий случай –
Две руки и две ноги...
– До чего же ты везучий, –
Удивлялись земляки.
Выводил он трактор в поле,
Стоковавшись по стерне,
Гимнастёрка вся от соли
Побелела на спине.
Был завидного здоровья,
Жил спокойно, без затей.

На земле, политой кровью,
Сеял хлеб, растил детей.
Но в один из дней мгновенно
В тихом поле у реки
Хрупкий мир послевоенный
Разлетелся на куски.
И взметнулся столб над лугом
От земли и до луны –
Зацепил он мину плугом,
Уцелевшую с войны...
Спи, солдат, покой твой вечен!
Жизнь не кончена, солдат!..
Жаль, что подвиг не отмечен
Никакою из наград.

ЗАТИШЬЕ

На линии огня
Короткое затишье.
Пожарища войны
Дымят и там, и тут.
Озноба тишины
Сдержать не могут вишни
И, вопреки всему,
Цветут, цветут, цветут.
Когда б ещё вот так
Беспечно птицы пели?..
Их столько полегло –
Виновных без вины.
Но вишни у дорог,
Какие уцелели,
Цветут, как будто нет
И не было войны.

Смотрелись облака
В проломленные крыши,
Купались воробьи
Беспечные в золе,
А соловей не знал,
Что это лишь затишье, –
Пел так, как будто мир
Царил на всей земле.
От этой белизны
Душа моя ослепла.
Над Родиной моей
Курлычут журавли...
А вишни у дорог,
Удобрённые пеплом,
Цветут, как никогда
Доселе не цвели!



ОБЕЛИСК

Катит небо расплавленный диск,
Закипает заботами день...
Есть в деревне у нас обелиск,
Как и в сотнях других деревень.
А на нём - имена земляков,
Что с рожденья я в сердце ношу...
Принесу незабудки с лугов
И на серый гранит положу.
И замрёт моё сердце на миг
Только от осознания того,
Что родня я любому из них,
А не знаю почти никого.
Это горькое чувство вины,
Что с годами сильней и сильней,
Словно долгое эхо войны,
По душе прокатилось моей.





ЗВЯГИНЦЕВА
Елена Анатольевна
Изобильный



Красивей пары не было на свете.
Казалось, счастье бесконечным будет...
Никто не ждал, никто и не заметил,
Как рухнул мир.

«Война!» – кричали люди...

Они прощались молча и недолго.
Глаза в глаза, рука в руке зажата.
Понять не в силах, что случилось, толком.
Зачем не вместе? Как уйти куда-то?..
И время вдруг остановилось словно.
«Я буду ждать тебя...» – пронзило дрожью.
На удивленье, сердце билось ровно.
«Запомни, милый, нет тебя дороже»...
Он обнял сына: «Ты теперь опора.
Мать береги. Пожалуйста, будь рядом.
Вернись живым. И это будет скоро!
Не провожать!» – окинул строгим взглядом.
С тех пор прошло немало дней. Воочию,
Ушёл, как канул. Ни письма, ни вести.
Она ждала его и днём, и ночью.
Жила лишь снами: там могли быть вместе...
Перебирала вещи – он носил их.
От запаха его кричать бы криком.
Все мысли смяты, не осталось силы...
Как одиноко в темноте безликой!..



Сквозь канонады рёв его лишь голос слышит.
Среди руин – след, на его похожий,
Когда невмочь, его дыханьем дышит.
Ты где, родной? Страдаешь, видно, тоже?..
Ждала, когда дом заносила вьюга,
Ждала и той весною, в сорок пятом.
Рвалась душой из замкнутого круга,
Всё окликая встречного солдата...
Она да сын, две птицы одиноких.
В руках букет, у сына танк из глины.
Так каждый день, всё ждут из стран далёких
Героя своего. Наверное, поныне...



Никогда не пишу о войне,
Потому что боюсь:
 не смогу передать эту боль.
Мной осознанно это вполне –
Не бывала я там,
 не шагала отчаянно вдоль
Фронтowej полосы.
 Может вдруг
Моё счастье то, может,
 моя то большая беда?..
Где твой враг? Где твой друг?
Говорят, там видней,
Говорят, было проще
 расставить все точки тогда...
Мне уже никогда не узнать,
Как смотрел бы на всех,
Уходя на войну и прощаясь навеки, отец...
Как седеет от ужаса мать,
При которой ребёнка
 со смертью ведут под венец...



Закрываю всегда я глаза,
Когда злобно смеётся с экрана
фашистский палач.
Вряд ли я бы смогла рассказать,
Рвётся как из-под ног
похороненных заживо плач...

Не пишу о войне никогда,
Потому что не знаю,
легко ли понять молодым,
Как срывается с неба звезда,
Сотни звёзд, превращаясь тотчас
в крематориев дым...
О войне никогда не пишу.
Не хватило мне места, видать,
в безымянном строю...
В своём сердце я гордо ношу
Дух победы великой страны.
И на этом стою...





ИВАНОВА
Елена Львовна
Предгорный район
станция Ессентукская

О ЧЁМ ШУМЯТ ДЕРЕВЬЯ

Цветок мать-и-мачехи

1.

Страшил пожарищ вид оскалом
Застывших мертвенно печей,
А я кораблик свой пускала
В бегущий весело ручей.

И так хотелось, чтоб, отважно
Преграды обогнув и сор,
Доплыл кораблик мой бумажный
Туда, где «моря» ждал простор.

Тогда младенческому взгляду,
По счастью, было невдомёк,
Что смертоносным он снарядом
Прорыт – тот маленький прудок.

А ручеёк, как жилка, бился,
Лужайки оживив висок,
И ясным солнышком лучился
Там мать-и-мачехи цветок.

2.

Дотронешься снизу – шершавый листок,
А сверху – упругий и гладкий, как мячик он.
Судьбы моего поколения цветок,
Не зря он был назван вот так: «мать-и-мачеха».



Ласкает ладошку, как добрая мать,
И колет, как будто бы та, неродная.
Но в том неповинен он, как не понять,
И в полусиротстве своём не одна я.

Шныряют повсюду ещё сквозняки,
И снег кое-где бело-серыми латками,
А эти без верхних одежек цветки
По склону овражка сбегает ребятками.

Весна! Это воздух свободы зовёт!
В игре веселиться вам, девочки, мальчики.
Ещё о Победе не знает народ,
Но радости вестник уж выслан вперёд –
Тот солнечно-горький цветок мать-и-мачехи.

Отважный, лучится, сияет, горит!
Весны он младенец, и всё ему ясноенько.
И что он о жизни смеясь говорит,
Растроганным сердцем ты сам догадайся-ка.

СТИХИ О МАТЕРИ

У неё за плечами война,
Да ещё «похоронка» на мужа.
Нас троих подымала одна,
Всё надеялась, будет получше.

А теперь столько всяких обид,
Год за годом они нарастали.
Всё чадит неустроенный быт,
А ведь сердце её не из стали.

Белкой кружится в том колесе,
Что война навязала – проклятом!
Чем плохая я дочь? Я, как все...
Только чувствую, что – виновата.



Не пойму, в чём вины этой суть?
Не сказать, что не сеем, не пашем.
Но пройди матерей наших путь
Шаг за шагом –
Не станет ли страшно?

И вперёд их глазами взгляни:
Мир на грани беды, как ребёнок,
Что играет с огнём...
Сохрани! Упаси его, Боже!
Но тонок
Голос матери.
В грохоте тонет,
И тревожны закатные дни.

ГАДАНЬЕ

На столе мелькают карты,
У гадалки строгий вид.
Руки спрятала под фартук
тётя Клава
и глядит.

О гадалке ходит слава...
– На-кась вытянь!
«Жив? не жив?» –
Тащит карту тётя Клава,
Веки красные смежив.

На войне «король бубновый»
сгинул:
Нет давно вестей.



– Отзовётся... Что ж такого?
Что ты плачешь-то? Не смей!

Осторожно, как жалея,
Свой старуха бает сказ,
И следят за ворожеей
С печки восемь шустрых глаз.

Шепчет бабка:
«Боже правый!..»
Вслух же:
– Карта – не обман.
Верь мне! Веришь ли мне, Клава?
Верь:
 вернётся твой Иван!

Тётя Клава пуще плакать,
Просветлела сразу...
– Вот!
Вот припрятала я, на-ка, –
Пайку хлеба подаёт.

Тут, смущаясь от старанья
Быть тактичной, бабка:
– Клаш!
Не могу я... Что гаданье?
Возвернётся он – отдашь.

Тётя Клава
 точно сжалась,
Стала ма-а-аленькой такой.
И навек во мне осталась
Так:
 с протянутой рукой...



ПАМЯТЬ

«...уроженец Орловской области сержант Иванов Лев Васильевич (...) был убит 16 января 1943 года. Похоронен высота северо-восточнее 3 км ст. Курсавка».

Из похоронного извещения на моего отца

Так вот какой он, этот край,
Что видел смерть и знает горе!..
Здесь май теперь, зелёный рай –
Холмы, долины, косогоры

То место, где искать отца,
Песчаника лишь знают плиты.
Но кость с отметиной свинца,
Что пулей вражеской пробита,

Благоухают и цветут.
Настоянный на травостое,
Напитком чудным воздух тут.
Он дорого солдатам стоил!

Она вблизи, недалеко...
Она в земные въелась поры.
Хранить ту память нелегко,
Но этот край тем мне и дорог.

Войны железная рука
Их вырвала из гнёзд родимых –
Тех, кто пришёл издалека
Сюда в суровую годину.

В тиши предгорий и степей
Над ними зорь трепещут стяги.
Вы точно в братском саркофаге,
Отцы. Ваш вечен мавзолей.

А там, где жались, как стрижи,
К земле селений брянских хаты,
Колосьями в сожжённой ржи
Сгорели дешёвые ребята...

Под злые речи словоблудов
Вас не отправят в мир иной.
Уж вас не вынести отсюда –
Вы в каждой жилке травяной.

Я УБИТ ПОД ЛУГАНСКОМ...

Я убит подо Ржевом...
А. Твардовский

Ты убит подо Ржевом,
Я убит под Луганском.
Уж насквозь проржавела,
В дырах вся твоя каска.

Через дыры в пространство
Свищет – прямо мне в темя –
Боль сквозная. И ясно:
Не меняется время.



Ну, а сами мы – что же?
Зря врагу это мнилось,
Что на вас не похожи
Внуки – всё изменилось.

Нет!
Но, дед мой, ты знаешь,
Мне, потомку солдата,
От компьютерных клавиш
Нелегко – к автомату.

И, признаюсь, непросто
В схватку было бросаться.
На всемирном погосте
Лечь захочешь ли в двадцать?

Страшно – тело живое –
В раскалённое пекло.

Я вернулся б из боя,
Но спеклись мои веки.

Не успел и осмыслить,
Что случилось со мною...
Дед, ты бился с фашистом,
Мне пришлось с ним – по новой.
.....

У вчерашних мальчишек
Грозовая стезя.
Отсидеться в затишке
Можно... Только нельзя!

Видно, русская доля
Неизменна в веках.
Куликово – где поле?
Да всего в двух шагах...

ПОБЕДА К ПАМЯТИ ВЗЫВАЕТ

Нам не найти таких скрижалей,
Чтоб всех означить имена,
Кого, свинцом своим ужалив,
У мира отняла война.

О, как суровы годы эти,
Как лютовала вражья рать!
Глаза не закрывайте детям,
Слух отворите: Надо знать!

Пускай подходят к обелискам
С притихшей чуткою душой,
Пускай далёкий предок близким
Им станет

– в мраморе, большой!

Такой большой, что всю планету
От мрака заслонил собой,
От смерти, от фашистских гетто,
И вот идёт по белу свету:
Он – Победитель.

Он – Герой.

А наша боль не утихает,
И радость с горем пополам.
Победа к памяти взывает,
И это –
Вечно помнить нам!



Я ТЫЩУ РАЗ ЗАРАНЕЕ УБИТА...

«Сейчас на каждого жителя Земли приходится пятнадцать тонн взрывчатки».

Из газет (1975 г.)

Я тыщу раз заранее убита,
И всё копится смертных сил припас.
Неужто в этом мире позабыто
О том, что умирают только раз?
О чём скорбят поныне обелиски –
Седую иву в роще ты спроси.
Она-то знает, видела так близко,
Как умирают люди на Руси.
Как будто бы и впрямь чего же проще,
Коль двум смертям на свете не бывать.
...Мне кажется порой, что эта роща –
Солдатских душ воскреснувшая рать.
Их сбивчивые речи бессловесны.
Шумят, идут ко мне со всех сторон!
Чего они хотят? И неизвестно,
То скрип ствола раздался или стон?
Деревья все. Все – роща. И неважно,
Кто из какого вышел блиндажа,
Где – бывшая в той, первой, жизни вражьей,
А где – своя, родимая, душа.
Как будто бы потомкам в назиданье,
О прошлом призадуматься веля,
Всех примирило смертное страданье,
Всех заключила в лоно мать-земля...
Когда уснут затихшие деревни.
Не спят, в ночи шушукаясь, леса.
Вы знаете ль, о чём шумят деревья?
Вы слышите ль ушедших голоса?
А я для вас язык их расшифрую
И так скажу: лишь только бы суметь
От этих душ нам отвести вторую –
Уже нечеловеческую – смерть.



О ЧЁМ ШУМЕЛА РОЖЬ

2

3

Замирает и стынет
В сердце боль о былом:
Где-то здесь на равнине –
Прах отца под холмом.



РАЗГОВОР С ОТЦОМ

Мне едва исполнилось два года –
Страшная война нас разлучила...
В день метелистый февральский, непогодный,
Мама похоронку получила.

Тула, станция Нарышкино, Калуга...
Смертные твои последние сражения.
Лютовал безумно враг-зверюга,
Но вывел ты свой полк из окружения.

А потом упал, вздохнув неслышно,
Судорожно снега горсть сжимая,
И умолк... Перед тобой Всевышний
Распахнул на небе двери рая.

Славный путь твой был тернист и краток.
Ты – навеки тридцатидвухлетний –
Я перешагнул восьмой десяток.
Как же так? Вопрос мой безответный.

Нам уже не встретиться с тобою,
Не обняться, на пожать друг другу руку.
Память о тебе, моём герое,
Завещаю своим детям, внукам.

Ты дальновидный был начальник штаба
И боевой отважный командир.
Твой орден – это Родины награда.
Ты отдал жизнь, чтоб на земле был мир.



НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ГОРКЕ

На Комсомольской горке запах дыма.
Свободный ветер завершает день.
И так легко, и так неотвратимо
Всё обволакивает ночи тень.

Мерцающей листвы коловращенье.
Озябший парк. Озябшие цветы.
И фонарей туманное свечение,
И барельефа строгие черты.

У Вечного огня солдат в отставке.
Приколот к пиджаку рукав пустой.
И красный свет, трепещущий, неяркий,
Горит, горит печально над звездой.

И в час такой, час горького смятенья,
Вновь пережив – так ясно! – давний бой,
Приходишь ты сюда на поклоненье,
Приходишь, как бессменный часовой.

Солдат, солдат, как много миновало
Не дней – годов с той яростной войны,
Но и поныне грозным, страшным валом
Былая боль приходит в наши сны.

И многим, как тебе, солдат, не спится:
Слаба времён защитная броня,
И, как тебе, ложится нам на лица
Багровый отблеск Вечного огня.





КАУНОВА
Юлия Андреевна
Кисловодск

«В ВОЙНУ ВСЕ УМЕЛИ ТЕРПЕТЬ...»

Судьба свидетеля страшных лет II Мировой войны, – воевал или нет, – имеет непреходящую ценность для будущих поколений.

Эмилию Юзефовну я заметила в центральной городской больнице Кисловодска. Познакомились. Маленькая пожилая женщина пригласила к себе: «Временное жилище вам понравится». Единственное окно двухместной палаты уводило взгляд вверх по возвышенности в густые заросли молодого ельника, утопавшего в снегу. «Я здесь одна. Чувствую себя, поглядывая в окно, курортницей. На улице снег растаял, а здесь вон есть».

Фронтовичку положила на очередную профилактику дочь – капельницы принять в процедурных кабинетах, да и просто отдохнуть от городского шума. Книжки в глянцево-ярких переплётках покоились стопкой на тумбочке: все о войне. Новые книжки спустя десятилетия раскрывают архивные страницы Второй мировой войны, их современный анализ. Эмилия Юзефовна – потенциальный книголюб.

Диктофон не смутил. Память респондента уникальна настолько, что передавая устному рассказу печатную форму, осознаю – комментарии в середине ли, в конце будут излишни. Справилась она со всем сама. Делиться минувшим в основном перед школьной аудиторией для нашей фронтовички дело привычное, но так как мир огромен, и насытить воспоминаниями о войне и перипетиях судьбы его невозможно, проникнемся ещё раз, поклонившись в её лице в пояс за Великую Победу всем – НАШИМ.

– Меня зовут, милая, Фесенко Эмилия Юзефовна. 90 лет живу, а всё мало. На войну ушла связисткой. Попала на отступления: ночами шли из Новочеркасска до Минвод. По пятьдесят человек. Однажды четыре дня голодали. Нас покормили в колхозе «Гигант». Он тогда на слуху был.



Родилась я 18 октября 1923 года в Нальчике, в семье поляка Медесицкого Юзефа Марковича, участника Гражданской войны, будёновца. Маму звали Марией. Родители разошлись, когда мне было семь лет. Я у них – единственный ребёнок. Уже взрослой отец мне признался: «В нашем с Машей разрыве виноват я». Мама об этом предпочитала молчать. Сама догадалась, повзрослев: отец женился на другой вскоре после развода, родившей ему впоследствии двоих детей, но обо мне папа никогда не забывал. Я всю жизнь была в курсе, где и как он живёт. Папа до начала Отечественной войны долгие годы лечился от туберкулёза. На фронте от его заболевания следа не осталось. Война на зверином стрессе излечила многих, кто не погиб, от хронических недугов. Однако стоило ему вернуться с фронта, туберкулёз возобновился, и ему пришлось лечиться заново.

Мы переехали на Кавминводы, куда мама вышла замуж за вдовца с маленьким сыном: я пошла в десятый, а сводный брат Вадим в первый класс. Молодую маму Вадима свёл в могилу тот же беспощадный туберкулёз. До изобретения пенициллина туберкулёз являлся вековым бичом. Мама взяла фамилию мужа, Фоменко. Родители отчима, Фёдора Павловича, были ещё относительно нестарыми людьми. Объединившись, две семьи купили в Горячеводске под Пятигорском небольшой домик. Жалкий домик, как мне видно с высоты прожитых лет: две комнаты, печка, огород. В одной комнате пол был земляной, в другой на полу лежала фанерка, а мы радовались, представляете! Вшестером зажили дружной семьёй, пока в корне нашу жизнь не изменила война. Отчим ушёл на фронт.

Никогда не забуду красно-багровый закат, распластавшийся над мостом в Пятигорске. Наш домик стоял недалеко от моста и военкомата. По этому мосту в город стекались отовсюду мужчины, их решительные силуэты с ношей на спинах сразу за мостом на фоне кровавого заката, словно специально созданного природой для придания трагизма, сливались в толпы. Песню Лебедева-Кумача люблю «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой...»: так шли наши защитники Родины в те июньские дни. Шли молча, топотом тысяч ног вгоняя женщин и детей в горькое, но гордое состояние патриотизма. Всю жизнь перед глазами это зрелище. Знаете, я даже рада, что наконец-то об этом напишут.

А я? В то время девчушка семнадцати лет. Росточком всего метр и пятьдесят шесть сантиметров. Помню, так я себя хорошо ощущала – десятилетку освоила, а 21 июня 1941 года нашему клас-



су вручили аттестаты. Радовались: начиналась самостоятельная взрослая жизнь. Мне торжественно вручили золотой аттестат – лист с золотой каёмочкой с отличными оценками. Ещё три девушки такие же получили. Оделась на выпускной вечер простенько. В моде тогда были белые тапочки с перепонкой и пуговицей, по канту шла голубая полоска, а сам кант на большой палец выходил. Чистили мы эти тапочки зубным порошком – что за чудо это было на юной ножке! Мои большие и зелёные, очевидно, польские, глаза, мальчишки называли крыжовниками. Волосы у меня были русыми и выщипанными, но до плеч. Дальше я их не отращивала, мода такая была. Кстати, после пятидесяти лет человек теряет в росте один сантиметр, вы знали об этом? Я сейчас ещё меньше, чем в юности была: позвоночник сел.

Выпускники вскладчину сообразили застолье, денег особенно-то ни у кого не было: приняли по бокалу лёгкого вина, по конфетке съели. Рассвет встречали на горе Машук, где всю ночь пели, танцевали, одноклассники, шутя, пугали девочек, выскакивая из кустов. Мы, визжа, гонялись за ними, не предполагая, что совсем скоро многие из наших мальчишек погибнут на войне. Погода стояла нежная с ночной перекличкой птиц. Под дружный хохот я передразнивала пение птиц на разные лады. У меня это получалось.

Дружили втроём, все отличницы: я, Маша Щербина и Вера Кудрина. Собирались в Москву, поступать в химико-технологический институт. Мечтами, по-моему, о московской студенческой жизни мы всех в ту ночь заразили. Вдруг учиться захотели даже те, кто в школе прохлаждался. Помню, лица одноклассников на рассвете разбурлялись, глаза особым блеском молодости зажглись, все красивые, счастливые, как никогда! Встретили рассвет и по домам разбрелись. Спала я крепко до самого обеда. Глубоким и безмятежным был сон, а проснулась оттого, что на всю улицу за окном что-то тревожное такое вещал репродуктор. 22 июня 1941 года это было, 12 часов дня! Люди кричат на улице:

– Миля, что-то важное сообщают, бежим к «тарелке»!

– Анна Ивановна, что там?

Дома мама кричит: «Дочка, вставай! Скорее вставай!»

Подскочив, побежала со всеми к репродуктору. Народу собралось видимо-невидимо, а тишина наступила такая, будто и нет никого. Стояли, задрав одинаково головы, и слушали жуткий голос диктора о вероломном нападении гитлеровских войск. Слёзы из глаз женщин хлынули одновременно. Никто ни на кого не смотрел,



плакали навзрыд. Текли наши слёзы по щекам, струйками по шеям – помню, всё помню. Тёплые и не солёные на вкус, а горькие слёзы.

Многие молодые извистие о начале войны спокойно восприняли, считали, что гитлеровцев шапками закидаем. Так тогда говорили.

Я в связистки пошла: курсы всего лишь один день! Быстро научилась, способная. С подругами ещё успели копии с аттестатов у нотариуса снять и в Москву почтой отправить. Отличников в институты без экзаменов принимали. О чём мы думали, не пойму. Пока беженцы из Ростова не появились в городе, молодёжь жила своей птичьей вольной жизнью. Бабушка приходила вечером и рассказывала со слов беженцев о том, что творят немцы в Ростове. Внутри гнев закипел – нужно идти на фронт! И пошла я маленькая, – сорок с чем-то килограммов всего, – на войну. Брать не хотели, но потом кто-то командиру шепнул, что я связистка очень способная. Здоровые мужики смеялись, что, дескать, Дюймовочке на прокорм ползёрнышка могло хватить, а она со всеми наравне уплетает за обе щеки.

Прибыли мы в Ростов уже после ухода немцев. Нас в «теплушке» везли, так вагоны назывались. Все вместе – девушки, парни, женщины, мужчины воевать ехали. Спали, на чём придётся. В Ростове разрушения жуткие, людей гражданских на улице не видно, одни военные. Разделили нас по звеньям. Моё звено называлось «Пост». Попала я в Новочеркасск, во ВНОС, то есть воздушное наблюдение, оповещение, связь. Присягу там же приняли, гордость разбирала – я на войне! Я нужна Родине! Я – защитница!

Назвали меня бойцом и определили в 67-й отдельный батальон и тут же «бойцонком» прозвали. Я не обижалась. Звено ВНОС, в которое я попала, выдвинули на передовую – вести наблюдение за немецкими самолётами «хейнкелями» и «мессершмиттами». В мою задачу входило предупреждать служащих аэродрома о приближении самолёта. Сидели связистки с аппаратом в обычных ямах. Технику каждая таскала на ремне, а ведь весил тот аппарат восемь килограммов.

Помню, тащу, а солдаты оглядываются, жалеют: подросток воюет!

Помогали, а мне обидно было, что никто не смотрел как на девушку. Другим девчонкам подмигивали, в любви объяснялись, а я для них «бойцонок» и всё тут.

Вот сию в яме, аппарат передо мной, сверху трубка. В случае чего, хватаю:



– Говорит дежурная такая-то, пост такой-то, замечена цель...

Никто из девушек не ныл, не просился домой, все знали о сталинском приказе от 27 июня, кажется, 1941 года – ни шагу назад: расстрел! Расстрелы имели место, мы были очевидцами. Струсившие дезертиры были совсем мальчишками, мы жалели их, плакали. Боялись-то смерти все, но никто в этом не признавался.

Помню, была мартовская распутица, перебирались через Дон, а до Дона шли прямо по ледяным ручьям до хутора Весёлый. Мокрым, продрогшим до мозга костей, нам совершенно было невесело, но **в войну все умели терпеть!** А над переправой немецкие разведчики летали, понтоны наши обстреливали. Страх животный помню, и животных рядом на понтонах помню – овец переправляли с нами, коров. Попадёт фашист в понтон, ребята прыгают в ледяную воду дыры латать. Жуть! С ума можно было сойти просто от соприкосновения с ледяной водой, а солдатики наши справлялись! На фронте много раз мне снилось: военкомат в Пятигорске недалеко от нашего домика, багровый закат и мост с людьми. Идут, идут, все в одну сторону, с вещмешками за спиной. Я иду среди них, оглядываясь на домик наш, но не вижу его. Думала, не вернусь с войны, раз дом во сне не вижу. Вернулась и вон до каких лет дожила.

Всю нашу бесхитростную мирную жизнь в семье до мелочей на фронте вспоминала. И ничего, что хлеб с 1938 года по карточкам получали: дед первым в четыре часа утра уходил, потом мы по очереди бегали – на ладошке очередь писали. В семь утра только хлеб начинали раздавать. Чёрный стоил девяносто копеек, серый полтора рубля, а белый хлеб два рубля семьдесят копеек. И ничего, что на день три булки выдавали, и все мы их съедали, но жили-то мирно!

На электростанции, где я работала до самого призыва, выдавали по пол-литра молока в день. Я сама его выпивала, по двенадцать часов дежурила. Даже поросёнка вспоминала на войне, как откармливали его, как резали его потом, как сало солили на зиму.

Из редких писем из дома знала и о глобальных переменах в семье: отчима тоже на фронт забрали, а у нас там немцы. Когда они к городу подходили, моя ещё молодая мама с подругой в Кабарду ушли, чтобы оккупанты не угнали их в Германию или просто не издевались над ними, как над жёнами защитников Отечества. Вадима малолетнего, сына мужа, мама оставила на родных ему бабушку и дедушку. Они ему ближе были. Мама после войны рассказывала, с какой трогательной любовью и нежностью, находясь в Кабарде,



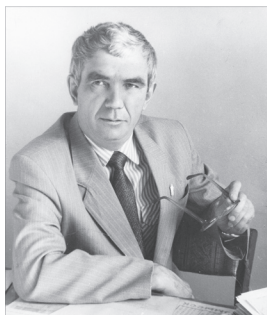
вспоминала наш неприхотливый тесный домик, где до войны мы дружно жили вшестером – дедушка, бабушка, мама, отчим, я и братик. В Горячеводске домик наш находился на улице Казарменной. Был огородик, где сажали всей семьёй картошку, огурцы, помидоры, фасоль, зелень. За водой ходили с вёдрами на коромыслах к колодцу, который украшал улицу Посетительскую. Там всегда как на празднике толпились и смеялись люди, тем и украшал улицу колодец. Улица Посетительская выходила на посёлок Свободы, где был базарчик. Школа стояла на улице Шоссейной.

Вы себе не представляете, что делает с людьми память, когда человек теряет, находясь в полном здравии, всё и всех в связи с войной! Стоит глаза закрыть – дом, лица родных и близких, и огромное количество подробностей быта, вплоть до коллекции открыток! Всё вдруг становится дорогим, значимым, всему в памяти находится свой тёплый уголок. Вот и мама моя этим жила, страшно за нас всех переживала – за отчима, за меня, за братика и стариков. Мамочка умудрялась передавать домой продукты с кабардинцами, что ездили на рынок в Пятигорск чем-нибудь торговать. Их немцы не трогали. Спасла мама стариков и брата в ту зиму от голода и нужды.

Маму мою звали Мария Львовна Фоменко, отчима – Фёдор Павлович Фоменко, естественно фамилию Фоменко носил и мой сводный брат Вадим. Родители отчима Павел Евсеевич и Анна Ивановна были душевными людьми. Дед умер первым: шёл из бани, завернул в пивную, где тогда пиво грели. Попил тёплого пива, вернувшись, лёг и больше не встал. А бабушка наша до девяностолетия всего два года не дотянула.

Почему-то важно вспомнить о том, что я и с родным отцом связи не теряла, до войны к нему на Украину погостить ездила. В 1938 году это было, в Киеве жила и вторая бабушка, мамина мама. Поверьте, это моя жизнь, всё важно, я ведь уже никогда не повторюсь. Отец меня очень любил. Написала ему с фронта письмо, оказалось, и он воюет.

С фронта я вернулась 26 августа 1945 года. Вот и всё, милая, ни о чём больше не хочу рассказывать, ни о ком не хочу вспоминать. Дочь у меня есть, немолодая уже. Очень хорошая у меня дочь – заботливая, наставляет, чтобы я доживала свою жизнь в позитиве. Простите меня. Чем смогла, поделилась, а вот горжусь: частичка моя есть в большой Победе над фашизмом.



КОЖЕВНИКОВ
Владимир Иванович
Невинномысск

ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК
Отрывки из трилогии «КАЗАЧЬИ КОЗЫРИ»

* * *

Не успело объявить радио, что 22 июня 1941 года фашистская Германия, внезапно нарушив Договор о ненападении, вероломно напала на Советский Союз, как по Бишкилю стремительно понеслись страшные слухи:

– Война-а!

– Началась война! – с испуганными лицами сообщали соседи соседям, случайные прохожие, покупатели магазинов, пассажиры.

– С кем война? – с недоверием переспрашивали один другого.

– С проклятым Гитлером, с кем же ещё? – отвечали им.

– Да с ним же пакт о ненападении заключён.

– А что толку?

– Господи! Какое горе! Что же будет теперь? Мужиков на фронт забреют, как мы тут одни-то останемся? – мрачно вздыхали бабы.

Путейцы собирались в конторке у мастера. Движенцы – у начальника станции.

– Что делать-то? – спрашивали с дрожью в голосе.

– Ждём экстренных указаний, кого заберут в армию, а кого оставят под бронью, – растерянно отвечало начальство. – Знаем лишь то, что железная дисциплина на дороге станет военной. Работать нужно будет изо всех сил. В том числе за тех, кого мобилизуют. И смотреть в оба, вредительство предупреждать, ведь теперь вновь поднимет голову вражеская гидра. Станет совать палки в колёса социализма.

А вскоре пошли повестки мужикам с требованием явиться в районный военкомат такого-то числа и в такое-то время. Призвали Барабанщикова Семёна, а дома у него остались малая дочь и жена



Наталья на сносях. Зятя Харьковых – Калетина, верзилу Шапина и много ещё кого. Замели и Вениамина Ильина, и их осиротелая избушка осталась с его матерью, женой Настасьей да сыном Володькой.

А вскоре пришла весть из Миасса: взяли в армию мужа Таисии – Василия Бражникова.

– Господи, спаси их всех и помоги, ведь сестра осталась с четырьмя детьми, самому младшему из которых, дочери Зое, идёт второй год, – молила Мария Овчинникова, осеняя себя крестным знамением. – Как ей выжить с такой оравой, как прокормить? Ивана, слава Богу, пока не взяли. Без него нам придёт хана.

Да, Овчинникову повезло. Сам Господь, видать, пощадил за сиротское детство, думал он молча, хотя вслух об этом не говорил. Как-то неудобно было, ведь многие станционные ушли на фронт.

– А ты чем лучше их? Спасает, наверно, работа, в которой себя не жалеешь, которая порой не лучше фронта, только на ней не стреляют и не убивают физически. И спрос за неё, как на фронте. И никаких поблажек. И нехватка путевых рабочих, обходчиков, из-за чего выходной после ночной смены сократился на сутки.

А ещё нужно было выходить на субботники и воскресники, на очистку путей и подшив рельсов от мазута, установку пикетных столбиков и скашивание травы на откосах и бровках, что в сухую погоду могла загореться даже от паровозной искры, выброшенного из окна окурка и привести к возгоранию вагонов, даже целых составов, везущих на фронт не только людей, но и технику, снаряды, бомбы, патроны. Загорись они, и будет беда не хуже диверсии.

Грузовых поездов становилось всё больше и больше. Они увеличивались в размерах. Большинство шло двойной тягой, ибо в горах были затяжные подъёмы. Крутой дым, вырывающийся из топок и паровозных труб, казалось, сначала крутился спиралью, потом редел, поднимался в небо или опускался на землю и зловеще стелился по ней, упорно полз, заворачивая в каждый прогал и куст лесозащиты, словно выкуривал оттуда всё живое, и посыпал несгоревшими крошками угля и пыльной гари. И верхний слой почвы с годами рос, покрывался чёрной, будто вулканической пылью и сажей.

Часто на платформах и в полувагонах везли танки с Челябинского тракторного завода, покрытые зелёным новым брезентом, из которого, как бревна, выпирали длинные стволы, артиллерийские орудия. В двухосных теплушках и четырехосных крытых вагонах, двери которых были открыты, ехали бойцы. Одни стояли, грустно на-



валившись на защитную перекладину прохода, чтобы не вывалиться наружу. Другие сидели на полу, свесив ноги в обмотках, слегка поматывая ими. Нередко махали руками встреченным вблизи людям, даже бросали треугольники солдатских писем, кто жил поблизости, чтобы передали родным. И их уважительно подбирали на перегонах и станциях, передавали адресатам. Нередко бойцы пели песни.

Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой...

Иван тоже махал им рукою, а то и провожал гудком стального рожка. Желал счастья и скорейшего завершения проклятой войны.

– И что за напасть на Россию? – возмущался железнодорожник.
– Кто-нибудь да на нас нападает. Сколько народу опять выхлещут!

У него так было печально и мерзко на душе, хоть заплачь. «Как так, – грустно размышлял он, – человечья жизнь дана небесами одна, и её кто-то забирает насильно, без согласия? А ежели б у того забрали, кто на других нападает, приносит миллионные жертвы и страдания? Шибко бы ему понравилось? Накажи их, Господи, беспощадных убийц и кровожадных правителей. Сохрани жизнь невинных людей».

А на станцию ежедневно приходили десятки людей. Одни были из местных, другие из соседних колхозов и деревень. Среди них нередко попадались знакомые и родственники, кумовья и сваты. С ними здоровались, обнимались, порой и рюмку водки опрокидывали за счастливый исход и возвращение.

Каждый надеялся на лучшее.

А если бы не было такой надежды, думал Овчинников, наверно, никто бы и не пошёл на войну, разбежались бы призывники по своим хуторам, сёлам, заимкам, лесам, как мыши по норам. А коли б кто и пошёл, то был бы не воин. Убил бы себя морально, зная, что идёт на верную гибель. А так каждый верил, что останется целым, не погибнет, вернётся к жене и детям, к семье. В худшем случае – получит не смертельное, а то и лёгкое ранение, с которым можно будет жить, работать и продолжать человеческий род.

И не зря некоторые выпившие по этому случаю провожающие и отъезжающие пели песни под гармошку:

Уезжаю спозаранья,
Ты дождися меня, Маня.



Я с Адольфом разберусь
И с победою вернусь.

И с азартом плясали, будто делали это последний раз в жизни, стучали каблуками в землю, словно мстили ей и с чем-то не соглашались, словно хотели на ней отыграться. От дикой пляски поднимались клубы тёплой коричневой пыли, которая оседала на меха гармошки, потные лица плясунов и стекала вместе с потом за воротники рубаш.

На телегах прибывали то аджатаровские, козбаевские, то нарыбаковские татары. Телеги были скрипучими и расхристанными, как и сами седоки. На них весело играли тальянки и пели мужские голоса:

Паровоз кия,	Паровоз идёт,
Барабан суга.	Барабаны бьют,
Игарма биш татар	Двадцать пять татар
Сугашарга кия...	Воевать идут.

И вот за Савинухой появлялся дым ещё невидимого паровоза. Но ожидающие знали, что это идёт пассажирский поезд местного назначения. Не все провожающие поедут с мобилизованными в райвоенкомат. Многим нужно было идти на работу и в школу. Поэтому начинали дружно прощаться, обниматься и крепко целоваться. И хотя не верили в гибель своих близких, всё же боязливо думали, что это прощание может стать последним.

– Ты уж прости за всё, Лукерья, – шептал жене муж.
– И ты прости, Петя. Удачи тебе и победы, – отвечала душевно та.
– Береги детей! – кричали с подножек уже трогающегося поезда.
– Себя береги, Серёжа! Мы будем тебя непременно ждать...

И крики, и слёзы, и вой женщин с детьми, и шальной гудок паровоза – всё смешивалось в одно, как в водовороте. А тронувшийся состав уже медленно набирал ход. Миновал выходные светофоры и стрелки. Скрывался за изгибом лесополосы. И только чёрный и мрачный дым долго висел над станцией и путями, потом тихо и грозно уплывал на запад...

* * *

Наконец-то закончилась самая кровопролитная и жестокая война. Приходили эшелоны с фронтовиками-победителями, и грудь



каждого, как небо звёздами, усыпана орденами и медалями. И Володьке Овчинникову было как-то обидно за своего отца – труженника тыла, на чьей железнодорожной гимнастёрке не было такого медального иконостаса.

– Папка, а почему ты не носишь на груди медали, как дядя Вена? – не раз задавал вопрос мальчишка.

– Потому что у дяди Вены награды за боевые заслуги на фронте, а у меня за труд. Как-то не принято в них щеголять и выставять на показ. Некоторые люди надевают по праздникам. Но часто ли у нас праздники? – неохотно отвечал Иван Аверьянович.

– А наша учительница говорит, что работа в тылу – это второй фронт, а доблестная – тем более, – не отставал любопытный мальчишка. – И он такой же почётный, как на передовой.

– На передовой жизнью рисковали, а мы хотя тут и голодали, но были в тылу. Жизни не отдавали. Вон при въезде в Златоуст стоит памятник погибшим дальневосточникам. Шёл эшелон на фронт, спешил с военными на помощь. А его диверсанты пустили под откос. А откос там очень высокий. Сотни людей погибли, которым поставили потом бетонный памятник. Таким и ордена с медалями надо выдавать даже посмертно.

– А как ты диверсанта поймал, расскажи!

– Да чо там сказывать, это ведь моя обычная работа – следить за состоянием путей. Иду я как-то ранним утром по своему околотку. Только забрезжил рассвет. Смотрю, что-то впереди колышется туда-сюда над рельсом. Животное или человек? Может, кто под поезд попал? Подхожу осторожным шагом, а там мужик с длинным путейским ключом откручивает гайки на стыковых накладках, чтобы рельсы под паровозом и вагонами разошлись в стороны и состав сошёл под откос.

Сжал я покрепче контрольный молоток и бесшумно подкрадываюсь. Он спиной ко мне возится, не видит меня и пыхтит. Я огрел его по плечу и отсушил ему руку. Взревел он от боли, словно кабан, а я повалил его наземь, связал ремнём руки и повёл на станцию. Смотрю на него – бандит бандитом. Лет пятидесяти с гаком. Широкоскулый и большезубый. Такими зубами только гвозди кусать. А уж если в горло вцепится, то вместе с шейными позвонками порвёт, как тушмурумский волк. А морда его знакомой показалась, когда я на свету пригляделся. И голос кого-то напомнил.



– Отпусти, – просится, – пять кусков дам. Корову купишь на них. Разве мало?

– А вы разве мало воинских эшелонов под откос пустили? Солдат и моряков погубили? Крушение в Златоусте – это твоя работа, сволочь?

– А чо ты их жалеешь, советских выродков? Они царя-батюшку скинули, адмирала Колчака угрохали, помещиков разорили.

– У меня нечего было разорять, гол, как сокол.

– Так тещу твою раскулачили.

– А ты откуда знаешь? – впился взглядом я в его паскудную харю.

– Да я работником у них был, как и ты...

– А-а, Аполка, что ли? – начал я признавать его. – Да тебе-то чего жалеть, сам был батраком. А потом местной властью заделался. И раскулачивал сам, а теперь на Советскую власть сваливаешь. Или разбогател на краденых конях, помещик двухкопеечный? Или тебя господин Колчак краденым золотом одарил? Жив, значит? Наверно, из лагеря сбежал и снова людям, стране гадишь? Да тебя на месте преступления надо прибить, как бешеную собаку!

Замахнулся я молотком и хотел огреть его по башке. Но он упал на колени, взмолился:

– Не бери греха на душу! Уж лучше властям сдай.

– Думаешь, помилуют? Такие вот и гадили в двадцатые годы, все с ног на голову норовили поставить. Пойми, дурья башка, я не колхозы защищаю, а людей, которых вы нещадно губили и губите. Они-то в чём виноваты? А вы то гражданские войны затеваете, то гитлеров всяких на нас науськиваете. Всё вам власти да денег мало. В ГПУ-то дурь быстро выбьют из тебя. И правильно сделают.

В общем, привёл я его на станцию и сдал, кому следует.

– Так ты же герой, папка! – радостно воскликнул сынишка. – Может, не один воинский эшелон, идущий на фронт, спас! Людей и технику. И на фронте не каждый боец такой поступок смог совершить.

– Какой я герой – вверх дырой? Так бы и Киршин, и другой путевой обходчик поступил, – заскромничал Иван Аверьянович и пошёл по хозяйским делам.

А Володьку брала гордость, ведь его отец тоже не лыком шит и старался для общей победы. Только вот медали за доблестный труд, в том числе во время войны, чего-то не надевает. Не праздник, говорит. Но, может, когда-то придёт и его праздник?



КОМАРОВ
Александр Михайлович
Новоселицкий район
село Китаевское

ОСКОЛОК

Сказал хирург:
– Ещё два дня –
И мы с тобой бы не успели...
Осколок чёрного огня
Полжизни был в отцовском теле.

Он кровь томил и леденил,
И растворялся в ней с годами,
Виски до срока серебрил,
Нигде отца не покидая.

И эхом через много лет
Той мины, ухнувшей под Оршей,
Ударил, выждавши момент,
Средь светлых дней, чтоб стало горше.

Я в мирном поле вырастал.
Война змеёю дотянулась:
Отцова кровь во мне, волнуясь,
Живёт, и в ней – войны металл.

ИГРА В ВОЙНУ

В детство однажды своё загляну:
Будто бы на киноплёнке



Самозабвенно играем в войну
Я и ровесник мой Лёнька.

По пустырю по-пластунски ползём
Храбро и неустомимо,
Нам удивительно в жизни везёт –
Пули проносятся мимо.

Каждый героем себя подаёт,
Любит отвагой хвалиться.
И вдохновенно строчит пулемёт
По набегаящим фрицам.

Вечером дома с вопросом к отцу:
– Папка, давно ли всё было?
Тень у отца промелькнёт по лицу,
Взгляд на мгновение застынет.

Он папиросу в раздумье помнёт,
Но не закурит, а скажет:
– Будто вчера это было, сынок,
Раны не зажили даже.

Сплю глубоко, как уставший боец.
Дождик стреляет по крыше.
В полночь от боли застонет отец –
Стон и сегодня тот слышу.

ПРОЩАЙ, ОТЕЦ

Прощай, отец! Бессильны речи.
Часы забвения близки –
Уже берут тебя на плечи
Твои друзья-фронтовики.

Несут, как будто с поля боя
Под Оршей сквозь металла вой,



Смотри: качается знакомо
Всё то же небо над тобой.

Несут по мокрому просёлку,
Понутив головы свои,
Несут к кладбищу на пригорке,
Где муки кончатся твои.

Терпи, теперь ещё немного –
И избавление придёт:
Не зря на полверсты дорогу
Твою заполнил твой народ.

Ты с ним делил успех, и беды,
И хлеб, и радость, и печаль;
И самый светлый День Победы
Как главный праздник отмечал.

Награды – жёлтые на красном –
Плывут по небу за тобой.
И осторожное начальство
Притихшей движется толпой.

Прощай, отец, – уж путь недолог –
Пред Богом чист и облегчён:
Последний той войны осколок
Минувшим летом извлечён.

И вот лежишь, не отвечаешь:
Исчерпан весь боезапас –
И в чёрной лодке уплываешь
В последний вечный свой запас.

В тот край, где ты ни разу не был,
Уходишь нынче навсегда...
А над тобой всё то же небо
И та же красная звезда...



ИЗВЕСТЕН СОЛДАТ НЕИЗВЕСТНЫЙ

В Москве есть известное место,
Где надпись гласит среди плит,
Что имя его неизвестно,
Но подвиг его не забыт.

Я с детства приучен не прятать
Упрямое мнение своё:
Красивая эта неправда
Опасней, чем просто враньё.

Мне кажется, с целью нечестной
Нам кто-то лукаво внушил,
Что, дескать, солдат неизвестный
За Родину жизнь положил.

Лишь недругам будет неплохо,
Коль люди привыкнут считать,
Что спас от разора Европу
Совсем неизвестный солдат.

И мне непонятно и больно,
Как будто моя в том вина,
Что стала в учебниках школьных
Почти неизвестной война.

Учил меня долгу и чести
Солдат с добрым русским лицом.
Кому-то он был неизвестным,
А мне он был просто отцом.

Мне имя его – словно зная.
И горд я, и счастлив, и рад,
Что всё ещё многие знают,
Кто был неизвестный солдат.



О нём пишут книги и песни,
Победные марши звучат.
Известен солдат неизвестный:
Он – русский советский солдат!

У ОТЦА НА КЛАДБИЩЕ

В светлый день юбилея Победы
Я к отцу, как обычно, пришёл –
И стакан с коркой чёрного хлеба
Тихо встал на кладбищенский стол.

Видишь, батя, летят наши годы –
И всё дальше Победа твоя.
И с какой-то такой непогоды
Голова всё белее моя.

В этой жизни хлебнул ты немало –
Покуражился рок над тобой,
Много лет с той поры миновало,
Как ушёл ты в последний свой бой.

А в эпоху вранья и раздора
Под диктовку чужих запевал
Растащили страну мародёры,
За которую ты воевал.

Вылью стопку на холмик заветный.
Видит Бог, ты, отец, не один
Мать-Отчизну любил безответно
В пору самых суровых годин.

Слышишь, батя, как сильные всходы
Рвут собой, как асфальт, небосвод.
И предателей время проходит –
Просыпается русский народ.



И недаром же в праздник свой лучший
У народа всего на виду
Ты сегодня прошёл с твоей внучкой
В легендарном Бессмертном полку.

В ОДНОМ СТРОЮ С ЖИВЫМИ

По-русски глубока и широка,
По-русски, видит Бог, неукротима,
Течёт река Бессмертного полка,
Где павшие в одном строю с живыми.

Они пришли, они идут, идут,
Идут в колоннах строгих рядом с нами.
Их тяжкий с потом, кровью ратный труд
Лёг на алтарь бессмертной русской славы.

Летят года, торопятся, бегут...
Но забывать мы не имеем права
Тех, кто не сдал заклтому врагу
Русь – от Москвы до самых до окраин.

Идёт Василь, который в Бресте лёг,
Идёт Иван с медалью «За отвагу»,
Идёт Илья, прошедший поперёк
Европу, расписавшись на рейхстаге.

Они идут, чеканя каждый шаг,
Все с нами рядом в светлый День Победы.
Они подскажут, где сегодня враг,
Как одолеть нам нынешние беды.

По-русски глубока и широка,
По-русски, видит Бог, неукротима,
Течёт река Бессмертного полка,
Где павшие в одном строю с живыми.



КУПРИН
Александр Иванович
Пятигорск

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 9-е МАЯ!

Как цветёт величаво сирень,
Будто факелы к небу вздымая!
К нам приходит торжественно день –
День Победы – 9-е Мая!

Сдвинув шапку свою набекрень,
«Фронтовые» сто грамм поднимая,
Пью за вас, за приблизивших день –
День Победы 9-е Мая!

На душе только скорбная тень.
И, погибших солдат вспоминая,
Пью за всех не увидевших день –
День Победы 9-е Мая!

Отцветёт потихоньку сирень,
И погаснут цветки, опадая.
Не погаснет лишь в памяти день –
День Победы 9-е Мая!

Победный марш, оркестры духовые,
Салюта блеск в медалях, орденах.
И ветеранов головы седые,
И фронтовая молодость в глазах!



ТРИ РАТНЫХ ПОЛЯ НА РУСИ

Три ратных поля на Руси.
Три поселения богатырских.
Там честь Отчизны вознесли
Защитники земель российских!

Поле Куликово!
Поле Бородинское!
Поле Прохоровское!
Куликовка! Бородино! Прохоровка!
Здесь честь России вознесли!
Здесь доблесть ратников российских!

Стоит незыблемо страна
С времён былинных, самых дальних.
Трёх полководцев имена
Навечно вписаны в скрижали.

Дмитрий Донской!
Михаил Кутузов!
Георгий Жуков!
Донской! Кутузов! Жуков!
Бессмертны эти имена
В народной памяти России!

Три ратных поля на Руси
Как символ мощи богатырской.
Там дух победы!
Гой еси,
Величье армии российской!



ВСТАНЕМ РЯДОМ, МАЛЬЧИШКИ!

*Нынешним мальчишкам
из союзных нам стран
во Второй мировой войне*

Встанем рядом,
французский мальчишка,
У могил, где погибшие спят,
Чтоб сердцами своими услышать
Слёзы Гавра¹ и наш Ленинград.

Встанем рядом,
английский мальчишка,
Чтоб не грянул кровавый разлад,
И, чтоб бомбы не рушили крыши,
Вспомним Ковентри² и Сталинград.

Встанем рядом,
из Штатов мальчишка,
Оглядев, чтобы Землю окрест,
Честь воздать миллионам погибших,
Вечно помнить Перл-Харбор³ и Брест.

Всё тревожней военные вспышки,
Всё безумней разбойная речь.
Встанем рядом
все вместе, мальчишки,
Чтобы мир на Земле уберечь.

¹Гавр – город во Франции, в 1940 году был превращён фашистской Германией в мощную военную базу для нападения на Англию. Сильно пострадал от боевых действий двух государств.

²Ковентри – город в Англии, которому большой урон нанесли фашистские бомбардировки в 1941 и 1942 годах. Ковентри и Сталинград города-побратимы с 1944 года.

³Перл-Харбор – военно-морская и воздушная база США на Гавайских островах, которая 7 декабря 1941 года была разгромлена Японией.



СЧАСТЛИВОЕ ИМЯ МОЁ

Детям войны

Я родился порой предвоенной,
Вот на этой священной земле!
И родные с мечтой сокровенной
Дали имя счастливое мне.

Только тучи фашистские, злые
Вдруг нависли страшнее свинца.
И в те первые дни роковые
Мы на фронт проводили отца.

Он отдал свою жизнь молодую
За свободное наше житьё!
Вот за эту сторонку родную!
За счастливое имя моё!

ЮНЫЙ ЧАСОВОЙ

Я стою часовым у огня
Вечной славы достойных бойцов,
Кто, Отчизну собой заслоня,
Был когда-то таким же юнцом.

Время словно замедлило бег.
Только пламя трепещет в тиши.
Я для жизни беру свой разбег
От бессмертья солдатской души.

Скажет каждый из наших ребят,
Бесконечно Отчизну любя,
Если грянет тревожный набат,
Защитим мы, Россия, тебя!



ПАРАД В ИЮНЕ 45-го

Когда фашистов напрочь разгромили,
Пройдя в сраженьях весь крошечный ад,
В Верховной Ставке миру объявили –
В Москве пройдёт военный наш парад.

Парад Победы – грозный знак московский,
Чтоб на Россию впредь никто не нападал.
Командовал Парадом Рокоссовский!
Парад Победы Жуков принимал!

Шли от Москвы до самого Берлина.
И штурмом взяли вражеский рейхстаг.
Над ним рукой солдата-исполина
Был водружён советский красный стяг.

Мы шли к победе, жизни не жалея,
И супостат с дороги был сметён.
Швырнули мы к подножью Мавзолея
Две сотни чёрных вражеских знамён.

Гремел оркестр победно-величаво.
И слышала спасённая земля,
Как шли полки, увенчанные славой,
Чеканя шаг у древнего Кремля!

Фронтовики! И каждый крепче стали.
Но скрыть волнение всё же не могли –
На них смотрел, смотрел товарищ Сталин,
Чьё имя в битвах гордо пронесли.

Нам не забыть победу в сорок пятом!
Нам не забыть страданий и потерь!
Всегда в Отчизну верили мы свято,
В Отчизну верим крепко и теперь!

Парад Победы – грозный знак московский,
Чтоб на Россию впредь никто не нападал.
Командовал Парадом Рокоссовский!
Парад Победы Жуков принимал!



КУСТОВ
Виктор Николаевич
Ставрополь

«ОСТАЮСЬ ЖУРНАЛИСТОМ»

За прожитые сорок пять лет видано-перевидано было немало. Но всё больше в маршевой торопливости, в грохоте и дыму сражений, а не в праздной неспешности, когда можно не только многое вокруг разглядеть, но и полюбить или отвергнуть. И в мирные послевоенные годы пришлось немало поездить уже известным писателем. Было с чем сравнить Кисловодск, когда Симонов приехал сюда летом 1959 года. Маленький, уютный в предгорьях, с великолепным парком, с высющимися белыми папахами двухглавого Эльбруса совсем рядом.

Он поселился в санатории, стоящем на склоне у самого входа в курортный парк, и каждое утро мог выбрать для прогулки либо многолюдье (для этого нужно было только немного спуститься вниз, чтобы окунуться в жизнь южного томно-ленивого от изобилия тепла и солнца, овощей и фруктов городка), либо тихие тенистые тропинки в рукотворном лесу, вспоминая добрым словом тех, кто когда-то посадил на голых, опалённых солнцем склонах маленькие деревца, которые давно уже пережили и тех, кто их высаживал, и их детей, внуков...

И он выбирал, движимый сиюминутным настроением или желанием, либо отвлекаясь от собственных дум, либо остаться с ними наедине.

Думы эти почему-то были о войне. Пятнадцать лет прошло, и теперь, на отдалении, то, что казалось тогда мелким, обыденным, не заслуживающим внимания на фоне каждодневного героизма, о чём он и писал тогда, вдруг приобрело для него ценность великую. И он, прошагавший военными дорогами с пером и блокнотом от Халкин-Гола до Берлина да и, казалось, описавший эту войну лучше многих



других, вдруг понял, что не всё рассказал. А может быть даже не так рассказал. И уже вынашивал идею мемуаров солдатских в противовес генеральским, в которых не было той житейской, окопной правды, которую он видел, знал и не смог за эти мирные годы забыть.

...Однажды утром, – он ещё не решил, куда сегодня отправиться на прогулку, – в коридоре санатория его остановила девушка. Представилась сотрудницей культурного отдела курорта и, явно смущаясь и робея, сказала:

– Константин Михайлович, я к вам с большой просьбой от наших отдыхающих и кисловодчан. Не могли бы вы выступить перед читателями. Мы, читатели, вас очень просим. – И торопливо добавила: – В нашем городе вас хорошо знают, ваши книги читают...

Он взглянул на неё, улыбнулся краешком губ, прекрасно понимая её волнение, её надежду, пока ещё потаённую радость, если вдруг получится то, о чём она уже несомненно сообщила не только начальству, но и своим знакомым. Он давно научился читать чужие мысли и понимать людей. Эта девушка в своём искреннем желании порадовать других ему нравилась. И хотя он не собирался здесь выступать, а приехал подлечиться и поработать, отдохнуть от столицы, где слишком многим он был нужен и где не было того количества одиночества, которое необходимо для творчества, встретился с её откровенно просящим взглядом и сказал:

– Хорошо, давайте встретимся. Но только у меня процедуры и распорядок, нужно определить время... А вы не сказали, как вас зовут?

Лицо девушки вмиг расцвело, глаза заискрились, какое-то время она молчала, очевидно, не ожидала такого быстрого согласия, наконец выпалила:

– Я всё согласую. Это будет в свободное время, чтобы вам было удобно... Меня зовут Толчанова... Татьяна... Таня...

– Вот мы и познакомимся. Только предупредите, Таня, меня заранее, мне ведь тоже нужно подготовиться.

Он улыбнулся в чёрные усы, довольный тем, что доставил этой девушке радость...

Встреча проходила в курортной части города в Нарзанной галерее. Подходя к зданию, он обратил внимание на стоящих у раскрытых окон людей, заглядывающих внутрь. Подумал, что они увидели там что-то интересное, но когда вышел на сцену, понял причину их любопытства: большой зал, вмещающий, как сказала Таня, восемьсот человек, был переполнен.



Звонящим голосом она представила его, перечислив немало титулов, упомянув о наградах, назвав книги, но так и не закончила из-за оваций. Симонов наклонил голову в ответ на аплодисменты, пытливым взглядом обвёл зал, отмечая среди отдыхающих и местных жителей их возраст – в основном это были люди его лет и несколько младше, очевидно, воевавшие или пережившие военное лихолетье. Это была знакомая аудитория, перед которой ему всегда было легко выступать. Он привычно шагнул к краю сцены, ближе к залу, спросил:

– С чего начнём, с чтения стихов или ваших вопросов? – и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Я предлагаю начать с фронтовых стихов...

И стал декламировать. Неторопливо, вдумчиво, как он привык, словно вновь вписывая в блокнот каждую строчку, каждое слово.

Зал заворожённо слушал, а Татьяна, сидевшая в первом ряду, не спускала глаз с Симонова.

Высокий, с пышной шевелюрой тёмно-каштановых волос, с пытливым взглядом карих глаз, который порой скользил и по ней, он читал, чуть-чуть картавя, иногда держа в руках книжку, но совсем в неё не заглядывая; медленно ходил по сцене, то на одну, то на другую её сторону, словно адресуя строки то одной части зала, то другой.

И, словно чувствуя невысказанные, но возникшие у слушателей вопросы, иногда останавливался и рассказывал, когда и где было написано стихотворение и что послужило толчком к его написанию. И если оно касалось непосредственно какого-то военного эпизода, обращался в зал:

– Вот я вам рассказал, где эти строки родились, а есть в зале, кто воевал в тех местах?

И обязательно находился тот, кто воевал именно там, где и он, и видел то же, что и Симонов. Константин Михайлович уточнял детали, спрашивал, совпали ли их впечатления, сумел ли он передать это в стихах – насколько они отражают правду. И было видно, что ему очень важно это знать...

Прошло почти два часа. Симонов уже устал и решил закончить традиционно чтением того, что пожелают слушатели.

– Что вам прочесть, завершая встречу? – спросил он, не сомневаясь в ответе.

Не видимая ему женщина перекричала остальных:



– «Жди меня» прочтите!

Он попытался найти её среди слушателей, потом выбрал почти ровесницу, с большими выразительными глазами, чем-то напominившую ему ту, которой он это стихотворение когда-то писал и, глядя на неё, словно адресуя эти строки именно ей, стал читать:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

И в тишине перед аплодисментами в центре зала неожиданно раздались рыдания.

Симонов растерянно замер. Затих зал, головы сидящих повернулись в сторону плачущей женщины. Она была из местных жителей. На вид лет сорок. Значит, пережила войну и какую-то трагедию.

Симонов прошёл по сцене в её сторону, спросил негромко:

– Вы что-то вспомнили?..

– Я так ждала мужа... – сквозь всхлипывания ответила она. – А он не вернулся. Он погиб... А я очень ждала, что он вернётся... Я вам поверила...

И, продолжая всхлипывать, достала из сумочки платочек.

Он окинул взглядом зал и громко произнёс:

– Товарищи фронтовики, встаньте и поклонитесь всем женщи-



нам, жёнам, матерям, сёстрам, невестам, которые так же верно ждали с фронта нас, солдат, как эта женщина.

И низко в пояс поклонился залу.

Все присутствующие в зале мужчины встали и молча стояли, наклонив головы.

– Спасибо, – прервал он паузу.

К сцене стали подходить люди с цветами. Константин Михайлович принимал, благодарил, но женщинам тут же возвращал, предлагая принять теперь цветы от него. Когда принесли последний букет, он подошёл к плакавшей женщине и протянул его ей.

– Это вам за вашу верность...

И, повернувшись под несмолкающие аплодисменты и крики «спасибо», пошёл вглубь сцены...

...Кисловодск для Симонова стал не только местом лечения и отдыха, но и работы.

Он приезжал теперь сюда довольно часто, его уже узнавали на кисловодских улицах и дорожках парка, по которым он любил гулять. Иногда подходили знакомиться, и, если новый знакомый оказывался фронтовиком, обязательно завязывался разговор-воспоминание. Он, так же как и те фронтовики, кого он знал, многое не мог забыть из того, что всё ещё приходило в печальных и пугающих снах...

Как правило, в каждый приезд звонил кто-нибудь из журналистов, и Симонов, понимая и уважая эту профессию, всегда соглашался на встречу. А если были просьбы и он мог чем-то помочь – помогал.

В 1964 году он познакомился с молодым журналистом Сергеем Павлюком. Тот вырос в станице Исправной Карачаево-Черкесской автономной области, хорошо знал колхозную жизнь. В это время шла хрущёвская реорганизация районов, колхозов. Их объединяли, укрупняли. Эта тема молодому журналисту была интересна и понастоящему его волновала.

Слушая его, Константин Михайлович улыбался тому азарту молодости, который так хорошо был ему знаком по началу собственной работы корреспондентом.

– Вот ты хорошо знаешь, чем живут колхозники, почему же не напишешь, как сказались эти реформы, нужны ли они... Поезжай к себе домой, собери материал да и напиши хороший правдивый очерк, – посоветовал он Павлюку.



Тот даже опешил от этого предложения. Вопросительно посмотрел на Симонова, не шутит ли... Ну даже если и напишет он, то кто опубликует? И Симонов, словно прочитав его мысли, сказал:

– Получится очерк, помогу напечатать. Но только чтобы это был обязательно журнальный очерк, а не газетная передовица...

И Павлюк послушался, поехал на свою родину, нашёл своих героев, молодую семью, только начинающую строить совместную жизнь, и написал, правда, не очерк, а рассказ «Дай руку, друг!», который опубликовали в журнале «Дон»...

...Нет, не мог Симонов отказать фронтовикам или их детям. И когда очередной молодой журналист, пришедший взять интервью для краевой курортной газеты, Юра Самойлов, начал с рассказа о своём отце, который был командиром танкового батальона, имел пять орденов и семь ранений, он не мог не расспросить его о том, что думает его поколение о подвиге своих отцов. И, щуря свои карие глаза, нет-нет да оценивающе окидывал взглядом этого юного, не знавшего войны парня, пытаясь понять, сохранит ли он отцовскую славу, которой так гордится сейчас.

В тот день они долго разговаривали в его номере. Он не торопил корреспондента, так хорошо знавшего его произведения, подробно отвечал на все вопросы. Отвлекаясь лишь на чай или телефонные звонки, на которые не мог не ответить. Как раз позвонил Роман Кармен, с которым они вместе работали над фильмом «Гренада, Гренада, Гренада моя...» Они не так давно вернулись из Испании – снимали на местах боевых сражений, где воевали добровольцы из Советского Союза.

Уже под конец чаепития, когда все темы для интервью были исчерпаны и минуло почти два часа, Самойлов спросил:

– Константин Михайлович, а вы сами себя кем считаете: писателем, поэтом, сценаристом, редактором...

Симонов улыбнулся, глядя на молодого корреспондента, который ещё считал, что всё, что делаешь в жизни, можно разложить по полочкам. Хотел сказать, что главное – не в том, к какому цеху ты принадлежишь. Всё, что он делал, в каком бы виде это ни выходило в свет, всё это – плод пережитого: поездок, встреч, чужих судеб, собственных переживаний... То есть того, что его окружало в течение жизни, с чем он сталкивался, что видел. А он просто писал отчёт об этом увиденном, пережитом и прожитом. Нет, дело совсем не в на-



звании профессии, а в умении увидеть то, что не разглядели другие... Но подумал, что это будет не совсем честно. Тот должен со временем понять это сам.

– Пожалуй, я был и остаюсь журналистом, – наконец сказал он и, глядя на Самойлова, подумал, что тот может ещё не понять, что более заманчивые и уважаемые им профессии писателя или сценариста – это всего лишь производные опыта, а возможность узнать людей и жизнь даёт как раз профессия журналиста, которую тот и выбрал.

– Как у вас в стихотворении: «Жил ты или помер – Главное, чтоб в номер Материал успел ты передать», – процитировал тот.

– Чтобы ты в этом не сомневался, я тебе книжечку свою подпишу, которая так и называется: «Остаюсь журналистом», – сказал Симонов и, раскрыв книгу, начертал: «В номер – это, конечно, хорошо! Важно при этом: что и как!»

...В один из следующих приездов уже на первом томе своего собрания сочинений он оставил надпись, подтверждающую сказанное в давнем интервью: «Юре Самойлову на добрую память от товарища по профессии. К. Симонов».

Идея написания солдатских мемуаров обретала реальность. Он решил рассказать о войне словами тех, кто чудом выжил, у кого шансов на это было меньше всего – словами пехотинцев. И закономерным было обращение к полным кавалерам ордена Славы, исключительно солдатского, окрашенного кровью и потом – огненных вёрст войны. Обо всех и всём, что они пережили, он не мог рассказать, не хватило бы жизни, и он выбрал сорок фронтовиков девятнадцати национальностей, полных кавалеров этого ордена. Один из них был кисловодчанин. И в очередной свой приезд Симонов познакомился с старшиной гвардии, полным кавалером трёх орденов Славы, Иваном Михайловичем Прядкиным, попавшим в 1942 году на фронт, в восемнадцать лет командовавшим отделением автоматчиков и прошедшим без единой царапины военными дорогами от берегов Днепра до Берлина.

Они встречались несколько раз. Сначала просто разговаривали, сверяя воспоминания, добываясь той самой правды, которая не всегда бывает желанной. Но Симонов хотел именно этого. И умел разговорить собеседника, убедить поделиться потаённым. Он хотел открыть в этих обычных людях теперь мирных профессий – тот же



Прядкин работал маляром – секрет, который позволил им не трудиться, не прятаться за спинами остальных, не трястись за собственную жизнь и в конце концов выжить и победить...

Он слушал их простые, порой не очень умелые рассказы, глядел на совсем не героические лица и всё больше понимал, в чём сила этих людей. Нет, войну выигрывают всё же не полководцы. Они лишь делают её короче. Войну выигрывают непокорные, самоотверженно любящие свою землю и своих родных, не способные быть рабами...

Сначала была написана книга «Шёл солдат...», лаконичная, даже скупая на эмоции, но несущая ту солдатскую правду, которой так не хватало теперь, спустя годы. Симонов понимал, что нельзя романтизировать войну, как делали некоторые авторы-фронтовики. Война – это тяжёлый и неблагодарный труд, пот, кровь, смерть...

Потом было решено снять фильм, и они говорили уже под кинокамеру. Он спрашивал своих собеседников: что было самым трудным на войне? Ответы были похожи и касались, как правило, непосредственно сражений. Кто считал, что самым трудным было выжить во время бомбёжки, кто вспоминал атаку...

Прядкин тоже сказал, что хуже всего – это попасть под пулемётный огонь... Он хорошо знал, чего стоит во время боя один миг, который разделяет жизнь и смерть. В наградных документах Прядкина Симонов прочитал, что за каждым орденом Ивана Михайловича всегда стояло это разделение. В каждом представлении к награде отмечалось, сколько лично он уничтожил врагов. Но убивал гвардии сержант только тогда, когда на кону стояла собственная жизнь; если же противник поднимал руки – брал в плен. И таких тоже было немало.

Материал не уместился в одну книгу, в один телефильм, и спустя время Симонов вновь пригласил Прядкина сниматься уже в другом фильме «Пехота есть пехота». В этом фильме все герои – только пехотинцы. И разговор не столько о подвигах, сколько о судьбах. И о том, как жилось солдату на фронте, как привыкали к окопам, войне... И какими невоенными заботами жили, чтобы выжить не только в бою...

В 1976 году книгу «Шёл солдат» он прислал Прядкину с надписью: «Дорогой Иван Михайлович! В память о нашей с Вами дружной работе над фильмом «Шёл солдат...» посылаем Вам эту книгу от имени всей нашей киногоруппы. К. Симонов».



ЛОБОВА
Тамара Михайловна
Кисловодск

СОЛДАТ ПО ФАМИЛИИ СТРУСЬ

Связист и в смерти не покинул пост,
Венчая подвигом свой бранный труд,
Он был из тех, кто, поднимаясь в рост,
Бессмертие, как города берут.

Алексей Сурков

Ну, надо же было парнишке «прихватить» такую фамилию от своих предков. Кто и когда её приобрёл, неизвестно.

Сверстники никогда не звали парня по имени – Никифор. Его фамилия вылетала быстро, как пуля: – Струсь!

Рос он, как все, но жизни от такой фамилии не было, достала она парня до печёнок. То: «Трус», то «Струсь». Ох и фамилия! Прилепится она к человеку и шагает он с ней до могилы, да ещё на кресте, чтобы не забыли, напишут, что жил на свете человек с такой фамилией, что лежит он здесь, горемычный, и она тут же с ним. И дети «Струсь», и внуки, и все прапрапра... и так до окончания века. С годами Никифор свыкся с этой бедой, узнав, что есть фамилии и похуже. Когда командир вызвал Никифора: «Рядовой Струсь», в строю прокатился лёгкий смешок. Вперёд шагнул парень безусый, худенький, среднего роста. «В роту связи».

Попал на войну Никифор из солнечного Кисловодска. Здесь он учился в школе, здесь пережил голодные годы, коллективизацию, немецкую оккупацию. В январе 1943 года немцы оставили город, и через две недели Никифор стоял в строю с такими же, как и он 17-летними подростками, в сквере у призывного пункта. Ничему не обученные, не державшие оружия в руках. С ними пошёл Струсь на



войну Великую, на войну Отечественную и попал на «Голубую линию», так называли её у нас, на Таманский полуостров, а немцы «Готенкапф», что дословно означает «голова гота».

Рубеж Готенкапфа: 577 закрытых огневых сооружений, 37,5 километра минных полей шириной до 500 метров, плотность 2500 мин на 1 кв. километр, 87 километров заграждений из колючей проволоки, 12 километров лесных завалов. Здесь немцы создали мощную траншейную оборону. Они зарылись в землю, согнав всё население станиц и под дулами автоматов заставили людей строить ДОТы, ДЗОТы, блиндажи, рыть траншеи противотанковые рвы. Так возникла знаменитая «Голубая линия», которая вошла в историю мировых войн. «Голубую линию» недаром сравнивают по мощи укреплений с линией Маннергейма (Финляндия) и линией Мажино (Франция).

1965 год. Я шла мимо строящегося многоквартирного дома на проезде Цандера и обратила внимание на одного из каменщиков. Он так ловко и аккуратно укладывал кирпичи, что я залюбовалась. Строитель заметил, что я внимательно разглядываю его, оставил работу и спустился вниз.

– Вы ко мне?

Я смутилась, и сказала, что засмотрелась на его работу. Разговорились. Оказалось, что каменщиком он работает давно. После госпиталя пошёл на стройку и вот уже много лет строит в Кисловодске дома. Я удивилась. Для участника Великой Отечественной войны мужчина был слишком молод.

– Да я на войне был всего два дня. Телефонистом. Один бой.

Телефонист должен содержать технику в порядке, уметь изолировать и сращивать провода, сматывать их нитку к нитке, если надо починить телефонный аппарат даже под огнём.

«От неопытных людей на войне, в первую голову в связи, - только недоразумения в работе, путаница в командах, особенно частая у артиллеристов. По причине худой связи артиллерия наша, да и авиация лупили по своим почём зря» (Виктор Астафьев. Прокляты и убиты. М., 2005. С. 511).

Под станицей Крымской шли тяжёлые бои. Потери были огромные.

Ревут моторы, воют сирены, трещат пулемёты, свистят бомбы. Земля трясётся, уходит из-под ног, взлетает вверх с клубами дыма и всем, что на ней: людьми, конями, машинами, повозками, пушками, кухнями. И гул. Такой сильный, такой жуткий гул, что замирает серд-



це. Тучи пуль и осколков. В этом аду и оказались наши кисловодчане. Мальчики. Не успели осмотреться, как их бросили в бой. Ребята рассыпались по окопам и траншеям.

Траншея отрывается зигзагами, чтобы пули и осколки от снаряда не поражали насквозь всё пространство, и чтобы за выступом можно было спрятаться. Глубина траншеи полтора метра. Когда копают траншею, то землю выбрасывают на край и образуется бруствер. Телефонный провод лежит на бруствере, и связист бежит или ползёт по открытому пространству. Так что он открыт всем осколкам, и пулям, и снарядам.

«Словом, как выметнется из окопа связист – исправлять под огнём повреждения на линии, мчится, увёртываясь от смерти, держа провод в кулаке – не до узлов ему, не до боли, потому-то у полевых связистов всегда до костей изорваны ладони, их беспощадно выбивали снайперы, рубило из пулемётов, секло осколками» (Виктор Астафьев. Прокляты и убиты. М., 2005. С. 511).

Телефонист Струсь остался с командиром в землянке и вдруг в самый разгар боя оборвалась связь.

Никифор выскочил из землянки в траншею и хотел одним махом вскочить на бруствер, но тело оцепенело и неопишущий страх пригнул его к земле. Как выпрыгнуть из траншеи, как умереть под пулями и осколками в 17 лет!!! Как??? И Никифор замер.

Вдруг мысль о том, что сейчас могут погибнуть его друзья и с ними сотни солдат, если не придёт подмога, молнией прожгла его мозг. Рядовой Струсь легко вскочил на бруствер, нашёл провод пригнулся и под дождём пуль и осколков побежал навстречу смерти.

Сколько бежал, Никифор не помнил, не помнил как нашёл обрыв. Как теряя сознание, успел зажать зубами оба конца провода и... связь заработала! Ничего уже не помнил солдат. Ничего...

Бой шёл двое суток, ни на минуту не прерываясь. Погиб командир, погибли в первом же бою его товарищи. Рядового Струсь никто не искал, потому что солдаты не успели даже друг с другом познакомиться. Да и никого почти не осталось. Нашли его случайно. На бруствере среди кучи земли и осколков торчала рука. Когда Никифора откопали, то усомнились, стоит ли его отправлять в медсанбат. Всё тело представляло собой кровавое месиво. Осколки были везде. Сердце еле трепыхалось. Жалко стало парня санитарам, уж больно молод. Положили его на плащ-палатку и потащили в медсанбат. Там оказали посильную помощь. Откуда смогли, достали осколки. На



скорую руку зашили раны, перевязали и отправили в санитарном поезде в родной город, в Кисловодск. Сюда поступали самые тяжёлые раненые больные. И опять Никифору повезло. Он попал на операционный стол к профессору Тимофею Еремеевичу Гнилорыбову.

Выходец из донских казаков, Тимофей Еремеевич был главным хирургом эвакогоспиталей Кисловодска. Он разработал методы хирургического лечения черепно-мозговых травм, сосудов, печени, трофических язв, методики пластики носа, век, ушной раковины и многое-многое другое. Заслуженный деятель науки Украинской ССР, доктор медицинских наук, профессор – вот кому обязан был солдат Струсь своим спасением.

Когда профессор увидел раненого, - диву дался. Как ещё жив?! Долго хирург выковыривал и вырезал осколки. Зашивал и зашивал раны, соединял кости, но самое тяжёлое ранение было в печень. Сколько времени шла операция, Никифор не помнил. Тимофей Еремеевич вытащил с того света Героя и вернул матери живого сыночка. Не один месяц провёл в госпитале солдат Струсь и был признан медкомиссией непригодным к дальнейшей службе. Пришёл парнишка в родной дом искалеченный, и даже не инвалид войны.

Героем себя не считал, даже не считал участником войны, потому что на фронте был всего два дня. Он даже не знал, что за такой подвиг многие связисты были удостоены высоких наград. Но медаль «За отвагу» ему полагалась, это уж точно.

Недолго прожил Никифор Струсь на земле. Доканали его ранения.

ДУШИ НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ

В санатории на неё сразу обратили внимание. Женщина была среднего роста, миловидная, но очень полная, поэтому ходила тяжело и с тростью. Одни смотрели на неё с сочувствием, другие: «Ого, как разъелась!» Не один год боролась женщина с ожирением, но никакие диеты, ни физкультура не давали результатов. Приговор вынесли врачи: «Слоновость. Медицина бессильна».

Лишний вес не даёт возможности жить нормально. Трудно передвигаться, в автобусе надо оплатить два места, потому что рядом никто не поместится, а в кино, в театре? Невозможно купить обувь, одежду. Надо всё шить на заказ. Трудно без чужой помощи себя об-



служить, к примеру, искупаться. И так далее и тому подобное. А как переносить взгляды посторонних?

Разговори́лась она как-то в санатории с лифтёршей. Лифтёрша – женщина пожилая, умудрённая опытом, сочувственно спросила:

– У Вас было какое-то сильное потрясение?

– Да. В 1941 году мы с мужем служили на границе. На Кольском полуострове. У нас было шестеро детей мал-мала, и мы ожидали седьмого. В июне я поехала рожать к маме в Киев. Муж должен был приехать к нам через месяц. Он проводил нас до Ленинграда, посадил в поезд и срочно вернулся в часть. Расстались мы с мужем тяжело, как будто навсегда. Необъяснимое чувство тревоги закралось в душу.

Ехали они весело. Пассажиры добрые, заботливые, угощали ребятшек разными вкусностями, играли, пели песни, а дети не могли нарадоваться. Они впервые ехали в поезде, то прилипали к окну, то носились по вагону.

– В ночь на 22 июня, в субботу, я уложила ребятню спать и прилегла к меньшему на полку. Устала за день, но сон не шёл. Вспоминала расставание с мужем. Накатило предчувствие беды. Вошла проводница. Объявила, что через час будет Киев.

Вера Петровна разбудила детей. Оделись. Приготовили вещи. Сейчас они встретят бабушку, тётю, дядю. Вот и вокзал. Паровоз медленно потащил вагоны к перрону. И вдруг... раздались взрывы! Это немецкие самолёты стали бомбить вокзал.

Машинист не растерялся, сразу дал задний ход и помчал поезд в обратную сторону. Больше женщина ничего не помнила.

С санитарного поезда увидели: на обочине, у железнодорожного полотна лежала женщина без сознания, рядом с ней новорожденный ребёнок и куча ребятшек, которые уже не плакали, не кричали, а сидели возле матери молча, в полной растерянности. Медики погрузили всю семью в поезд и стали выхаживать и мать, и деток, и новорожденного малыша.

Эвакопоезд забирал раненых из прифронтовой полосы и вывозил их далеко в Сибирь, даже в Красноярск.

Когда Вера Петровна поправилась, то вместе со старшими детьми стала ухаживать за ранеными, писать под диктовку письма, а раненые очень тепло относились к детям.

Они напоминали им о своих ребятishках, оставленных в родных домах.



На крышах эвакопоездов и госпиталей, на санитарных машинах и палатках были нарисованы красные кресты, но немцы нарушали все международные договоры и бомбили, невзирая ни на что. Так прошло больше года.

Поезд не раз попадал под артиллерийский обстрел, не раз его бомбили самолёты, не раз прибывал с выбитыми окнами, иссечённый осколками, но всё обошлось.

«Как-то начался очередной налёт. Несколько самолётов стали бомбить наш эшелон. Со всех сторон взрывы. Вот сейчас взлетим на воздух. Я бросилась бежать из первого вагона в последний. В этом вагоне были бинты, вата, другие перевязочные материалы. Там были мои дети. Мне кажется, что я бегу, а сама еле ноги переставляю. Ноги ватные, сердце выпрыгивает от ужаса, и я вдруг как закричу: «Господи, спаси моих детей!» Добежала, рванула дверь и увидела застывших от страха детей и... бомбу! Она застряла в вате и бинтах. Не взорвалась!.. Я упала и потеряла сознание. После этого случая у меня стал прибавляться вес. Начальник поезда решил больше судьбу не испытывать, не рисковать жизнью детей и высадить нас в Новосибирске. Собрали и дали нам одежонку, сколько могли, продуктов, и вышли мы на перрон. Я и семеро моих деточек в чужой стороне. Никого родных и никого знакомых.

Когда началась война, народ сплотила одна беда. Каждый старался разделить чужую боль, поделиться последним куском хлеба, снять и отдать последнюю рубашку. Люди были всякие, но в основном проявились во всеобщей беде лучшие качества нашего народа. Не было ни украинцев, ни эстонцев, ни узбеков, ни якутов. Все были Люди и все Человеки. Объединила страну одна задача – одолеть врага и выстоять. Вот благодаря этому сплочению и победили».

Обратилась мать в эвакопункт и получила, как эвакуированная, бесплатные продовольственные карточки. Подселили их к бабушке с бабушкой, у которых дети были на фронте. Окутали они детей своим душевным теплом. С ними вынесла семья все тяготы войны. Голод, и холод, и жуткую нищету. В магазинах ничего не было. Сутками стояли голодные полуодетые дети в очередях за хлебом. В любую погоду. Самым страшным было потерять карточки. Их воровали, а карточки не восстанавливали, и тогда семья была обречена на голодную смерть. Паёк был крайне скудным. Вера работала в госпитале санитаркой, а потом закончила трёхмесячные РОККовские курсы медсестёр.



РОКК – Российское общество Красного Креста имеет давнюю историю и, к слову сказать, у его истоков стояла Великая княгиня Елена Павловна, которая создала Крестовоздвиженскую общину в 1854 году, где готовили сестёр милосердия для работы в военных госпиталях в осаждённом Севастополе. Во время Великой Отечественной войны РОККом было подготовлено только медсестёр 263 669, тысячи сандружинниц и санитаров. Сейчас трудно представить, сколько было сделано этим обществом почти за 200 лет существования.

Как служащей, матери полагалось, по нормам военного времени: 400 граммов хлеба на день, на месяц 600 граммов сахара и кондитерских изделий, крупы и макарон 1200 граммов, мяса 1000 граммов. Заметьте, продукты измерялись в граммах. Такой же, примерно, был паёк у детей. Паёк полагался, но не всегда давали даже хлеб.

В тылу стали открывать ФЗУ (фабрично-заводские училища). Они готовили токарей, слесарей, путейцев и других, крайне необходимых специалистов. Старший сын Веры Петровны пошёл в ФЗУ. Им давали форму, общежитие и хоть как-то кормили. 12-14-летние дети трудились на производствах. Когда стали из западной части страны вывозить заводы и фабрики, то зачастую оборудование устанавливали в чистом поле. На площадках ставили станки, и в это же время возводили корпуса. В таких «цехах» без крыш работали дети в любую погоду. И это в морозной Сибири. Ребятишки стояли на деревянных ящиках (потому что не доставали до станков), точили снаряды, детали для двигателей, шили военную одежду, парашюты, собирали рации и многое другое.

Наконец пришла Победа.

Радость неописуемая. Ждали-ждали мать с детишками отца с фронта, а получили «пропал без вести». Вера Петровна никак не могла поверить, что муж пропал и искала его, искала, искала. Киевская родня не отозвалась. То ли погибли, то ли их угнали немцы в Германию, то ли поменяли место жительства. Из родной части сообщили, что такой не числится.

После войны писатель-фронтовик Сергей Сергеевич Смирнов начал поиски попавших в плен и пропавших без вести солдат. Его выступления по радио и в телепередаче «Подвиг» внесли огромный вклад в поиск пропавших на войне и её неизвестных героев. Сергей Сергеевич делал святое дело. Он восстанавливал добрые имена солдат, попавших в плен во время войны и осуждённых за это в



СССР. Он получил за несколько лет миллион писем. Это дало толчок к розыску без вести пропавших, и множество народу включилось в поиск. До сих пор отряды патриотов обнаруживают места боёв, восстанавливают имена героев, находят родных. Многие из воинов оказались в госпиталях без ног или без рук, а в монастырях на Соловках и без рук и без ног. Эти люди понимали, сколь тяжела послевоенная жизнь, решали не обременять собой семьи и поэтому не объявлялись. Находились в госпиталях до конца своих дней контуженные, потерявшие память рассудок, зрение, слух, конечности и доставленные в госпитали без документов. Домой приходили похорожки или «без вести пропал».

Вера Петровна не пропускала ни одной передачи. Вслушивалась в каждое слово, вдруг скажут о Митеньке.

В это время на другом конце страны в госпитале лежат два неподвижных человека с ранениями в позвоночник. Один другому рассказывает, как во время войны его раненого везли в тыл в санитарном поезде. В поезде была женщина с малыми детьми. Он рассказал, что подобрали её с ребятами после бомбежки, даже вспомнил, как звали женщину, что детей было семеро, что младшим был новорожденный. Сестричка написала под диктовку письмо писателю Смирнову.

Письмо прочли по центральному радио и Вера Петровна услышала в передаче имя и фамилию, адрес госпиталя того, кто разыскивает их. С одним из сыновей отправилась она в путь. Проехали полстраны. Ехали поездом, в телеге, шли пешком, наконец добрались до бывшего монастыря. В нём размещался госпиталь. Сразу не признала она своего Митю. Вместо пышущего здоровьем богатыря жена увидела седого измождённого старика. Только глаза родные, любимые выдали мужа.

Привезли они отца из лесной глухомани. Отогрели дети и жена его своей любовью, теплом и заботой. Ожил воин. Но где только ни лечили Дмитрия, остался он неподвижен.

«Живём мы в любви, дружно. Дети получили хорошее образование, специалисты. Старшие разлетелись в разные стороны. Уже внуки есть. Живём мы с самым младшеньким, что 22 июня 1941 года в Киеве под бомбёжкой родился. Нельзя нам на жизнь жаловаться. Вот только болезнь привязалась, говорят, неизлечимая. Значит, надо терпеть. Терплю. Главное – рядом Митенька, а с ним мне ничего не страшно».



ЛЮБЕНКО
Иван Иванович
Ставрополь

ДО ПОБЕДЫ ОСТАВАЛОСЬ...

Семьдесят семь лет минуло с той поры, когда сапог последнего немецкого оккупанта навсегда покинул степные просторы нашего края. Отступал вышколенный, хорошо вооруженный, прошедший пол-Европы, опытный прусский вояка. Бежал, бросая технику и боеприпасы. От кого бежал? От наспех вооружённых новобранцев: вчерашних школьников, их братьев и отцов.

Как же смогли они сломать надёжную немецкую машину? Что думали и кого вспоминали, поднимаясь в полный рост в атаку на врага? Ответить могут только непосредственные участники событий. Один из них – мой дядя Любенко Николай Иванович, родившийся в 1923 году и проживший на свете 70 лет, прошедший всю войну, одарённый во всех отношениях человек. Он собирался написать книгу по страницам своих фронтовых дневников.

Его первый рассказ неоконченной военной эпопеи точно передаёт душевное состояние наших земляков, впервые, взявших в руки оружие.

«22 января 1943 года. Село Привольное Молотовского района. Тихий морозный вечер. Сегодня из моего родного села, спасаясь бегством, отступили остатки разбитых немецких войск. Основные пути отхода захватчиков уже перерезаны частями Красной Армии. Немцы бегут просёлочной дорогой на Кулешовку. Справа, в сторону станции Песчанокотской, и дальше на Запад – слышны непрерывные залпы орудий – это наши танки преследуют противника. Артиллерийская канонада постепенно удаляется в сторону Ростова.

Вдруг всё стихло. Люди высыпали на улицу и оживленно переговариваются между собой. Чувствуется приближение чего-то боль-



шого и радостного. До глубокой ночи никто не расходится по хатам в ожидании освободителей.

От счастья все смеются и плачут одновременно. Почти каждая семья не теряет надежду на встречу с родными и близкими.

Далеко за полночь, одетый в пальто брата Федора, я задремал в вырытом окопе на усадьбе своего старого двора.

Слышу сквозь сон, как сестра Мария будит меня и говорит, что в село входят какие-то воинские части.

Где-то с окраины едва доносится шум движения большой людской массы. Уже слышен скрип колёс, ржание лошадей и чьи-то окрики. И вдруг совершенно отчётливо:

– Эй, Петров, одолжи мне ведро!..

– А ты куда прёшь! Держи правее...

Отовсюду раздаются крепкие простуженные голоса, команды, смех и незлобные фигурные выражения. Теперь ясно – это свои. Первыми вступили в село обозы стрелковой части. Иду из окопа в дом.

А там уже наши. Хата быстро наполнилась смехом, разговорами, расспросами и радостной неразберихой. Затопили печь. Отец спрашивает уставших солдат, мама подаёт на стол, а я уже примерил на себе автомат и военное снаряжение. Мы все жадно читаем свежие сводки Совинформбюро.

Незаметно стало светать.

Уже видно, как в село стройным порядком входит боевая механизированная часть. Медленно и величаво вкатываются на сельские улицы закалённые в сражениях танки, бронетранспортёры и стремительные «катюши».

Но немец пытался огрызаться. Дважды за день низко и на большой скорости налетали «мессеры», пытаясь обстрелять колонну советской техники. Завидев неприятеля, зенитный расчёт быстро и дружно разворачивался в боевой порядок и прошивал небо зигзагом разрывных снарядов. «Стервятники», завидев разрывы, «не слоно хлебавши» уносились прочь.

После обеда я прошёл короткий медосмотр и признанный годным к строевой службе, был призван в действующую армию. Нас, таких мобилизованных рекрутов, в селе набралось много. Завтра мы должны влиться в ряды Красной Армии. Сборы были короткими.



Родители собирали мне дорожную одежду и продукты. Последний семейный вечер пронёсся как один миг.

Ночью стоят морозы, но днём наступает оттепель. Утро пришло вместе с ярким солнцем. К полудню недавно выпавший снег превратился в снежную жидкую кашу. Где-то в районе села Белая Глина слышна канонада и череда тяжёлых взрывов.

Прощаемся. Увижу ли я снова родных и близких, своё родное Привольное? Выхожу из хаты и оборачиваюсь. В последнюю минуту хочется запечатлеть в памяти всё, что бесконечно дорого и близко. На глазах наворачиваются слёзы, креплюсь и сам успокаиваю дорогу, такую любимую и родную маму. Помню своё неудачное прощание с ней, где неосторожно сказал, что или я вернусь невредимым, или вообще не вернусь.

Вот мы и двинулись колонной по полевой дороге туда, где раздаются взрывы, навстречу неумолимой канонаде. Вместе со мной шагает мой родной дядя Никифор, мои друзья и много других односельчан. Я одет в серое, перешитое из шинели пальто старшего брата Фёдора, который уже второй год сражается на фронте. На ногах почти новые валенки, тёплая шапка, а за плечами вещмешок с продуктами.

До сельского кладбища шли вместе с родными. Остановились. Крепко целую плачущую маму, сестер, родственников. Тяжёлое расставание. Прошедший ещё Первую мировую отец даёт советы дяде Никифору, о чём-то напоминает и мне. Я ничего не слышу. Я смотрю на село. Вижу маму, машу ей и сердцем чувствую всю её боль. Снова оглядываюсь назад. Справа и слева плотной гурьбой идут мои земляки, а позади постепенно отстают одинокими группами провожающие.

Прощаюсь последний раз с папашей. Надо расставаться. На душе тяжело. В последний раз отец сказал, чтобы я берёг себя, а потом махнул рукой и, как-то сгорбившись, отвернулся.

Итак, теперь вместе со мной, на одинаковых солдатских правах, остался только мой дядя. Идём быстро и уже далеко позади чернеют на снегу маленькие фигурки наших близких. Ещё видно село Привольное и что-то ещё связывает каждого из идущих, с теперь уже прошлой жизнью. А сколько из нас никогда не вернётся в родные края? Предстоит долгий и неведомый путь. Снег и снег кругом. Раскаты войны всё ближе.



По обочинам дороги попадаются неубранные трупы немцев и лошадей. Валяется фашистская амуниция и техника войны: снаряды, каски, патроны, винтовки и мотоциклы.

Поздно, в сумерках, вошли в Павловку, откуда только что выбили немцев. Мороз крепчает. Заночевали в одной из хат. Долго не могли уснуть. Началась моя первая фронтовая ночь. До победы оставалось...»

ПОДВИГ ОФИЦЕРА

Раскрашенный свастикой самолёт пытался достать длинными очередями рассыпавшуюся горохом по обе стороны дороги огромную людскую массу. Оставалось только лечь в кювет вниз лицом, закрыть голову руками и молиться, молиться, молиться.

Беженцы, забытые и брошенные на произвол судьбы, успевшей эвакуироваться на автомобилях Советской властью, вели неравную дуэль с фашистским воздушным пиратом.

Нина повернулась на спину, решив, что если уж ей суждено погибнуть от пули немецкого лётчика, то пусть в её глазах навсегда останется отражение родного Смоленского неба. Самолёт со стремительным рёвом приближался к земле. Она встретила взглядом с немцем. Затянутый в кожаный шлем лётчик смотрел в лицо худенькой школьнице из седьмого «Б» и улыбался, потом махнул рукой, ушёл на разворот и исчез в белых, похожих на вату, облаках.

Люди вставали, щупали себя, не веря, что они живы, и с ужасом обнаруживали убитыми братьев, сестёр, отцов и матерей. Плач стоял, такой плач! Казалось, вместе с людьми стонет от горя вся русская земля.

У ближайшей деревни встретили отступающих наших солдат. Измученные, раненые и грязные, они пытались пробиться к своей части. Только, где свои, а где немцы, никто тогда не знал. Похоже, лишь молодой лейтенант в хорошо подогнанной, затянутой ремнями, щеголеватой полевой форме не терял присутствия духа.

– Значит так, бойцы. Слушай мою команду. Все находящиеся здесь красноармейцы поступают в моё распоряжение. Я командир реактивной установки. Задача наша простая. Одно отделение взво-



да занимает высоту 2135 – косогор в полутора километрах отсюда, а реактивную установку маскируем и размещаем со стороны леса, где команду к выступлению будут ожидать ещё два отделения. Дождавшись, когда немцы подтянут силы для последующей атаки на высоту, мы с фланга откроем огонь по противнику и, воспользовавшись замешательством врага, перейдём в атаку. Сигнал к наступлению – красная ракета, – отдавал приказание артиллерист.

– Да у нас патронов почти не осталось. Выдали-то всего по пять штук на брата... – послышался из строя чей-то голос.

– Те, у кого нет боеприпасов, пойдут в рукопашную. Наша цель – обеспечить раненым бойцам и беженцам беспрепятственный отход к Вязьме.

Глядя на спокойного, не по годам уверенного в себе лейтенанта, Нина чувствовала гордость за свою страну, Красную Армию и вообще за всю Советскую власть.

«Да разве могут немцы победить таких красивых, молодых и отважных красных командиров?» – думала девочка и вместе с мамой и братом Юрой уходила в тыл по разбитой российской дороге.

Теперь, после того как лейтенант отправил с колонной раненых солдат, она приобрела вид уже организованного шествия. Присутствие военных, пусть даже раненых, вселяло уверенность и надежду в скором окончании этого кошмара.

Через два часа пути, откуда-то сзади послышались разрывы снарядов, длинные пулемётные очереди и звуки одиночных винтовочных выстрелов.

К далёкому месту сражения стервятниками слетались истребители люфтваффе, совсем не обращая внимания на плетущихся по дороге людей.

Воздух, наполненный осенним влажным холодом, разразился резким, пронзительным свистом. «Это наши «катюши», – крикнул кто-то из бойцов и все остановились. Было ясно, бой в самом разгаре. Вдруг далеко впереди на горизонте появились маленькие, едва различимые чёрные точки. Они приближались с усиливавшимся рёвом. Все остановились.

Навстречу неслись немецкие мотоциклисты и грузовик с солдатами. Гитлеровцы двигались со стороны Вязьмы. Это означало, что и этот город уже занят фашистами, и все воинские соединения Красной Армии, находящиеся под Ельней, попали в окружение.



Из кабины грузовика, угрожая пистолетом, выскочил немецкий офицер и что-то закричал на своём гортанном языке.

Повинуясь его приказам, автоматчики быстро вытолкнули из колонны всех раненых солдат и отвели их к обочине. А потом опять тот же офицер что-то скомандовал, и спустя мгновение раздалась автоматные очереди. Раненых бойцов фашисты расстреляли.

Страх, вначале, парализовавший всех, быстро сменился ненавистью к оккупантам.

Люди перешёптывались между собой. Ничем не оправданная жестокость гитлеровцев приводила в ярость.

Колонну развернули назад. Повинуясь приказу, люди шли обратно по территории, уже занятой врагом. По обочинам валялись убитые лошади, перевёрнутые подводы, брошенные велосипеды, тачки, какой-то скарб.

Вдоль дороги попался лагерь наших пленных, огороженный, в открытом поле, колючей проволокой. Солдаты кричали, просили еды, пытались согреться, прыгали на месте. К этому времени уже выпал первый снег. Ночью температура опускалась до минус пяти. Кормили военнопленных подобранными убитыми лошадьми, которых бросали через заграждение. Пленные тут же, чем придётся, рубили несвежие туши и ели их сырыми. Зрелище было ужасное. Нина смотрела на них и плакала, от обиды за нашу армию, от своего бессилия и невозможности помочь несчастным.

Уже почти на подступах к Ельне девочка узнала от жителей одной деревни подробности того героического сражения безымянного лейтенанта, командовавшего взводом солдат и одной «катюшей», принявшего бой с намного превосходящими силами фашистов.

Расчёт молодого выпускника артиллерийского училища был точным. Группа из десяти человек окопалась на господствующей высоте. Вооружены смельчаки были одними винтовками. Как только немцы приблизились на расстояние винтовочного выстрела, бойцы открыли по ним прицельный огонь. Оккупанты остановились, дожидаясь прибытия артиллерийской батареи с тем, чтобы сравнять защитников с землёй. Фашисты старались не рисковать жизнью солдат вермахта.

Как только в одном месте сосредоточилась вражеская артиллерия, бронетранспортёры и живая сила, в воздух один за другим устремились реактивные снаряды «катюши», а за ними в атаку, с рас-



катистым русским «ура!» ринулись храбрые защитники. Измученные долгими отступлениями, они пошли в бесстрашную атаку, увлекаемые одним порывом – отомстить гитлеровцам за кровь и унижение родной земли. В рукопашной схватке силы были не равными, но горстка израненных бойцов, в итоге, уничтожила почти батальон фрицев.

Когда кончились патроны у мужественного молодого командира, он сражался штыком подобранной тут же трёхлинейки.

Все герои погибли.

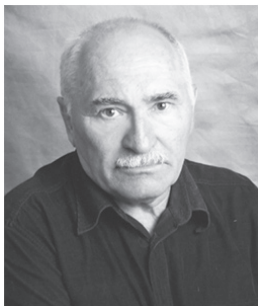
Фашисты испытали настоящий шок от дерзкой атаки русских, успевших к тому же взорвать реактивную установку, не позволив противнику захватить ценный трофей.

Несмотря на ненависть к командирам Красной Армии, гитлеровцы с почестями, достойными героя, похоронили молодого офицера. Над его могилой трижды прогремел прощальный салют.

Пройдёт ещё почти четыре трудных года и немало испытаний выпадет на долю тех, кому с оружием в руках предстояло защищать свою страну в долгой борьбе с врагом.

Но в очередную годовщину Великой Победы я хочу вспомнить и тех, кто просто жил в это трудное время и в меру своих сил ковал победу вместе со всей страной, как выпало это на долю Капустиной Нины – юной школьницы из небольшого городка под Смоленском, а теперь девятиностотрёхлетней жительницы города Ставрополя – моей мамы. Именно благодаря ей мы сегодня узнали о бессмертном подвиге храброго русского офицера.





МАЛЯРОВ
Владимир Константинович
Михайловск

ХОРОНИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Хоронили председателя колхоза «Красный путь» Матвея Кузьмича Иванова. В председателях Матвей Кузьмич ходил с тысяча девятьсот сорок третьего года.

Ещё в сорок первом скажи кто-нибудь, что кадровому офицеру Иванову судьбой начертано большую часть жизни посвятить профессии колхозного председателя – не поверил бы. Тяжелораненого старшего лейтенанта Матвея Иванова вначале отправили в тыловой госпиталь, а потом и вовсе в серёдку России, куда фашисту так и не хватило духу докарабкаться. Заключение врачей – не годен... стало началом крутого поворота в Матвеевой жизни. Слезно молил Матвей старикашечку-профессора признать его годным хотя бы в тыловики, но насколько был невзрачен старикашечка, настолько же неумолим.

Были у Матвея Иванова, кроме долга кадрового офицера, и свои кровные счёты с фашистом. При спешной эвакуации под бомбёжкой угодила бомба в грузовую машину с офицерскими семьями. В той машине ехала молодая жена Матвея Ириша с грудной дочерью. В конце сорок первого получил известие от престарелой матери, что под Москвой погибли в ополчении отец и старший брат Матвея. А в сорок третьем на Курской дуге ярким летним днём рвануло на куски вражеской миной и самого Матвея, да знать, крепко сшит оказался.

Два боевых ордена говорили о том, что дрался Иванов с врагом не просто хорошо, но умело. Ордена Матвей почему-то не брал в счёт. На госпитальной койке его донимала одна мысль: «Не успел, не успел сквитаться с проклятым, за семью, за отца и брата...»

После выписки попал Матвей Иванов в один из тыловых райкомов на подкрепление. Райком в свою очередь направил бывше-



го фронтовика теперь уже на укрепление колхоза «Красный путь» председателем. И вот они, пять вконец обнищавших деревень, объединившихся ещё до войны в один колхоз.

Сам из деревни, Матвей не понаслышке знал о колхозной работе, а председатель ему с детства мыслился кем-то вроде полководца. Уважение к сельскому голове сохранилось в памяти. Волею судьбы и сам оказался в «полководцах».

Горечью и болью наполнилось Матвеево сердце, когда он на тощей кобылёшке Зайке объезжал своё разбросанное «войско». Например, в деревне Князевке самым тягловым мужиком на колхозных работах был деревенский блаженный Ивашка. В деревне Тихоновке на пятьдесят баб, стариков и старух приходилось до сотни сопливой детворы и неокрепших подростков. Не лучшим образом выглядели и другие «подразделения» колхоза.

Вот тут-то и пригодились Матвею боевые ордена. Перед орденами на груди председателя даже Ивашка стоял навтыжку в своей невесте где раздобытой военной фуражке с огромной жестяной звездой на околыше.

Вопреки всему, жизнь налаживалась. Возвращались с войны мужики-калеки, подрастала мелюзга на тощем хлебе, но никогда председателю не становилось легче. Донимали уполномоченные – одни с жестокостью, да по-справедливому, другие со злобной властью брали за самое горло. От последних натерпелся Матвей. По злему навету арестовали в сорок девятом. Разобрались – выпустили. «За самоуправство» исключили из партии в пятьдесят третьем. Расследовали – восстановили и в партии, и в должности.

Это потом к боевым наградам Матвея добавились трудовые, потом зарубежные спецы, не сдерживая одобрительного лопотанья, объезжали и обходили хозяйство колхоза «Красный путь». Но тот памятный сорок третий был дорог Матвею, пожалуй, больше всех последующих лет. Он тогда учился председательствовать, недосыпая, недоедая и превозмогая себя – своё нездоровье и боль.

Не от старости умер Матвей Иванов, а от сердечной боли. Раз и другой бесконечно натруженное сердце предупредило инфарктами беспокойного председателя, но однажды толкнуло изо всех силёнок его в широкую грудину и замерло навсегда.

Похоронами распоряжался секретарь парткома Игорь Павлович Зотов. Несмотря на молодость – ему было тридцать два года – и недавнюю работу в колхозе, секретаря парткома уважали и пользо-



вали доверием. «Хоть и ненашенский он, - говаривали колхозники о Зотове, - и в земле не дюже смышлён, но к человеку завсегда со вниманием, опять же башковит, видно, по своим категориям».

Покойный Матвей Кузьмич частенько до сердитости влезал в споры со своим секретарём парткома. Тот всё больше наукой гнул председателя долу. Книжник, каких поискать. Иванов и сердился – самому-то науками раньше недосуг было заниматься, а теперь вроде бы поздновато. Сердится-то сердился, но в отсутствие Зотова говаривал правленцам, мол, светлоголовый малый у нас секретарь парткома. Таким, как он, по нынешним научным временам и карты в руки. Нам, мол, крыть уже нечем.

Итак, похоронами распоряжался Зотов. Всеми вопросами по этому поводу занимался лично.

– Где в Доме культуры гроб будет стоять? – спрашивали у него.

Зотов поехал в ДК.

– Здесь, – указал место, походив в раздумье по просторному залу.

– В каком месте на кладбище могилку копать?

Зотов ехал на кладбище.

– Здесь, – без колебаний сказал он, углядев свободную пядь земли рядом с братской могилой красноармейцев, расстрелянных белыми в восемнадцатом году.

Оркестр духовиков был свой. Они поднаторели в своём деле. Их даже в соседние колхозы приглашали в дни торжеств и печалей. Беспокоило Зотова и ещё одно дело, которое он считал едва ли ни главной частью похорон. Речи. Организованные речи без всяких неожиданностей и экспромтов. О покойном обязательно хорошо должны сказать колхозники и желательно те, кто давно знал до- блестящего председателя.

Главную речь там, на кладбище, по мнению Зотова, должен произнести Степан Рогов. Это он, Степан Рогов, долгие и самые тяжкие годы был и правой рукой и верным помощником председателю.

Степан вернулся домой в конце сорок третьего с культёй вместо левой ноги. На следующий же день явился на костылях в правление колхоза, позвякивая тремя медалями на новенькой, не обмятой гимнастёрке под распахнутой старой шинелью.

Председатель сидел в маленькой, провонявшей махрой комнатушке старого правления. Поздоровались, оценивающе оглядели друг друга.



– Принимай, какой есть, - хрипловато сказал Степан, тяжело опираясь на костыли.

Вышел из-за стола Матвей Иванов и крепко обнял калеку-фронтовика:

– Садись, браток, рассказывай, - Матвей усадил Степана на табурет и свой стул перенёс поближе.

Долго они тогда проговорили. Вспомнили нерадостное и радостным вестям с фронта порадовались. Жали уже местами проклятого фрица, сыпали ему крупной русской соли на горячий хвост.

В разговоре не раз успел Степан перехватить председателей взгляд на костыли и культю.

– Ты, Матвей, не гляди, что я однокопытный, - невесело пошутил Рогов. – Пригожусь. А ногу через два дня новёхонькую сделаю. Вот только пенёк липовый маленько подсушу...

Трудно сочинялась речь для Степана Рогова. На двух страницах Зотов наконец-то уложил весь жизненный путь Матвея Кузьмича и остался доволен проделанной работой. А заканчивалась та речь словами: «Мы, колхозники, никогда не забудем заслуг Матвея Кузьмича Иванова перед Родиной, КПСС и всем советским народом. Так будем же, товарищи, продолжать святое дело нашего председателя и добиваться новых трудовых успехов на пути к коммунизму».

Гораздо легче написались две другие короткие речи для знатных колхозников. И уже без особого труда Зотов заготовил речь для себя. И начиналась она так: «Я недолго знал Матвея Кузьмича, но убедился, что тружусь рядом с коммунистом кристально чистой души. Не жалея ни сил, ни богатого опыта...»

На следующий день он раздал заготовленные речи колхозникам.

Степан Рогов вначале наотрез отказался по бумажке читать погребальную речь.

– Я уж сам как-нибудь выскажусь, Игорь Павлович, – сказал он.

– Как-нибудь нельзя Степан Яковлевич, – возразил Зотов. – На похоронах будут представители из области и района. Что они подумают? Мямлили, тянули колхознички, слова путного не нашли, провожая в последний путь уважаемого председателя...

Хоронили Матвея Кузьмича тёплым июньским днём. Улицы главной усадьбы колхоза с утра были наполнены большим и малым людом из пяти деревень. Когда опустили гроб рядом с ямой, воцарилась тишина. Такая тишина, что можно было слышать пiski, шорохи, жужжание и стрекотание всей кладбищенской травяной живности.



И тогда от стоявшей несколько обособленно кучки людей отделился небольшого роста плотный немолодой человек в старомодном габардиновом пыльнике серого цвета. Человек был абсолютно лыс, и на его глянцево поблёскивающим черепе отчётливо проступали то ли веснушки, то ли родимые пятна. Шляпу человек держал в руке. Он уверенно подошёл к гробу, бросил беглый взгляд на лицо покойного, откашлялся в кулак.

– Пискунов говорить будет, - тихо прошелестело по толпе колхозников.

Откашлявшись в кулак, Пискунов скорбно, но достаточно громко сказал:

– Товарищи, мы провожаем в последний путь нашего незабываемого Матвея Кузьмича Иванова. Матвей Кузьмич прошёл славный путь человеческой судьбы, который можно лишь пожелать каждому из нас. Самоотверженный трудовой путь на благо Родины.

– Ишь, Гробовщик, как по писаному чешет, – злобно вато сказал кто-то в толпе.

Никто толком не знал, кем сейчас работал в областном центре Пискунов, но старым колхозникам он был хорошо знаком по военным и послевоенным временам как жестокий и даже звероватый уполномоченный. Досталось в своё время от него и Матвею Кузьмичу. Поговаривали, что сейчас без Пискунова не обходились ни одни похороны старых заслуженных кадров, потому и получил мрачное прозвище – Гробовщик.

– Скорбим, скорбим, – продолжал Пискунов, – иначе не назовёшь это многолюдье, - он говорил ещё минут пять, затем, вытирая сухие глаза большим клетчатым платком, направился на прежнее место.

Зотов незаметно кивнул Степану Рогову.

Давно поседевший, в тёмном костюме со скромной наградной планочкой на груди, Степан стоял тут же, у гроба, опираясь на полированную трость. Он неловко полез было в нагрудный карман пиджака и извлёк листки с заготовленной речью, но, пока разворачивал, один лист выпал из его рук. Степан досадливо поморщился, смял и другой.

Он внимательно посмотрел в лицо покойному и тихо проговорил:

– Вот и нет тебя, Матвей Иванов, – худые щёки Степана напряглись, а глаза наполнились колючей влагой. Он судорожно вздохнул и, подняв голову, глянул вверх близ стоявших. – Граждане, – хрипловато и с надрывцей продолжал Степан Рогов. – Нету больше на свете

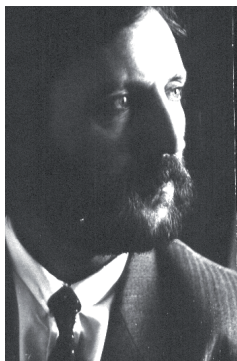


нашего Матвея Кузьмича, принявшего безвременную смерть... Нам ли с вами не знать, сколь мук он принял? Тут и железному сердцу не выстоять, а у него было простое, человеческое... Слушал я Пискунова, и моё сердце угольями жгло. За самоотверженный труд похвалил он нашего председателя. А забыл ты, Пискунов, как шпынял Матвея Иванова. Может и забыл, а мы помним, каким ты гоголем ходил, когда в сорок девятом подвёл Матвея под арест и в пятьдесят третьем радовался, когда у него партбилет забрали. Не нравился тебе Матвей, потому что юзить перед тобой не хотел, да и не умел он юзить... Ты тогда на виду у нас был... Помним, как ты распинался, мол, не место таким, как Матвей, в партии, – Степан говорил и не замечал отчаянных гримас Зотова. – Ан видишь, партия разобралась. Матвей вон кто стал, а ты... Есть на сердце Матвея и твоя зарубка, Пискунов. Ты жив, а его нет и уже не будет.

Степан помолчал, смущённо пригладил седой хохолок на макушке, наконец-то заметив отчаяние на лице Зотова.

– Конечно, не место сейчас обиды наши общие припоминать, – продолжал Степан. – Не любил того покойный... Обидно, что Матвей не слышит хороших слов о себе, а сколько на его долю выпало слов горьких, несправедливых, то он их, наверное, и в гробу не забудет... Граждане, а сколько он вин наших на свою голову принял! – Степан оглядел рядом стоявших односельчан. – Вот ты, Марфа, стоишь и плачешь, – обратился он к пожилой женщине, вытиравшей слёзы углом тёмного головного платка. – Я знаю, о чём ты плачешь. Когда ты летом сорок третьего ходила в валенках на ток зерно молотить, думаешь, не знал председатель про твой «ревматизм»? Знал. Знал и то, что твоя орава ребятишек выжить должна и жить долго... И не ошибся – живут и тот хлеб достойно отрабатывают... А если бы тебя тогда в Сибирь и ребятишек по миру... – Степан перевёл взгляд на понуро стоявшего рядом с гробом щупловатого, ещё не старого мужика. – Ты, Афоня, помнишь, ведь посмешищем всего колхоза стал Афоня-пьяница и первейший лодырь. Но первый «Кировец» Матвей Кузьмич тебе в руки дал, хоть от упрёков не знал куда деться. И не ошибся председатель. Кто ты теперь, Афоня? Уважаемый человек, знатный механизатор! – Степан опять немного помолчал и тихо закончил свою речь: – Отца родного мы потеряли, граждане...

Зотов поспешно подал знак музыкантам. Скорбные звуки траурной мелодии вознеслись над толпой, могильными холмиками, крестами и памятниками и устремились в знойное марево неба.



МАСЛОВ
Анатолий Михайлович
Изобильненский район
посёлок Передовой

ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО КАЗАКА

1.

Слякотной зимой, в год, когда страна готовилась праздновать очередной юбилей Победы над фашистской Германией, зашёл ко мне ветеран войны Иван Петрович Кравченко, явно удручённый какими-то раздумьями, и попросил:

- Пишу воспоминания о войне, может, пригодятся кому, посмотришь?

Ивана Петровича я знал давно: бывал у него дома, когда в школе дружил с его сыном Колькой. Помню, у них была хорошая по тем временам библиотека, но завидовал я товарищу по другой причине: с войны отец привёз мечту каждого мальчишки – настоящий армейский бинокль, так необходимый в наших военных играх на глинище за Дудиновым прудом. Тогда же я узнал, что дядя Ваня пришёл с войны офицером, и совсем посчитал его героем.

Он и прежде не отличался крепким телосложением, а теперь показался и вовсе худым. К тому же был глуховат, и когда я говорил, внимательно следил за моими губами, приклонив ладонь к уху.

Для начала, как водится, побеседовали с ним о хуторских новостях. Иван Петрович между тем распаковал газетный свёрток, в котором оказалась книга Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления», а также старые солдатские фотографии, карта Германии военных лет и исписанные тетрадные листки.

Он протянул их мне.

— Ты будешь читать, а я пояснять...



– Хорошо, – кивнул я и тут же полюбопытствовал: – А призвали вас в 41-м?

– Нет, когда началась война, казаков-выселенцев не брали.

– Расскажите, пожалуйста, об этом, – попросил я, мало зная об этой категории репрессированных советской властью граждан.

– Род Кравченко – казачий. Мои предки – донские казаки, участвовали ещё в бунте 1793–1794 годов: они не хотели переселяться с обжитых мест, но их семьи под конвоем сопровождали на Кавказскую линию, – неторопливо начал Иван Петрович, слеповато щурясь. – Здесь, на Ставрополье, в лесистой местности, в верховьях Егорлыка, донцы обустроили, а потом и обжили станицу Темнолесскую. Я родом из неё. При царском режиме станица с годами стала богатой, зелёной, утопала в садах. В казачьих дворах было много всякой живности: лошади, коровы, овцы, а птицу и не считали. Так рассказывал мой дедушка Михаил Андреевич, сожалея о прошлой жизни, он был последним атаманом Темнолесской. Люди умели трудиться и жить по-божески, – Иван Петрович шумно вздохнул: – Но случился октябрьский переворот, а потом и Гражданская война, и Россия вверглась в долгий хаос. Отношения с новой властью были сложные. Она боялась казаков и не доверяла им. Сам Троцкий признавался, что «революция проползла под брюхом казачьей лошади». А казаки поверили власти и обманулись, – Иван Петрович замолчал, как бы осмысливая сказанное и определяя вектор дальнейшего своего рассказа, но мысли сами повели его память по тропе воспоминаний, не единожды хоженной за долгую жизнь.

– После коллективизации отец мой, Пётр Михайлович, работал в колхозе «Сельмашстрой» скотником – ухаживал за коровами и лошадьми, а мама, Федора Григорьевна, была воспитателем в детском саду, но в 1934 году отца неожиданно забрали среди ночи и увели неведомо куда. А нас, пятерых детей с матерью, выселив из своей хаты и станицы, вывезли в Дербетовку, разрешив взять только ручную кладь. Это селение вместе с другими входило в состав Дивненской спецзоны НКВД. Сюда свозились репрессированные, «раскулаченные» люди с Кубани, Дона и других мест Северного Кавказа. Без отца нам жилось нелегко. «Лишенцы» выполняли рабскую, порой бессмысленную, работу в невероятных условиях. Наша семья жила на скотном дворе в однокомнатной хибаре с соломенной худой крышей, спали скопом на холодном земляном полу. Голод мо-



рил нещадно, но у нас не было права оставлять место ссылки. Устав от такой жизни, я тайно покинул «выселки», надеясь в какой-нибудь чужой стороне обрести лучшую долю. Несколько месяцев бродяжничал, стараясь подальше уйти от этого гиблого места – Дербетовки, попрошайничал. Добрые люди подавали кусок хлеба, хотя и сами жили в нужде. Я заметил: чем беднее человек, тем чище у него душа, и совесть не замутнена. На товарняке добрался до Ростова, но, не успев оглядеться, на вокзале попал под облаву, был схвачен и отправлен милицией в детский распределитель.

Иван Петрович снова умолк, захваченный горестными воспоминаниями. Я посмотрел в окно: там хлёткий ветер трепал одинокую вербу, обламывал её хрупкие ветви и резко швырял в стекло. Отчего-то стало тревожно.

На железнодорожной станции ударили в колокол. Дежурный громко объявил:

– Будьте осторожны, на первый путь прибывает пассажирский поезд Кавказская – Ставрополь!

Всё это существовало как бы параллельно: жизнь за окном и жизнь в воспоминаниях Ивана Петровича.

– После карантина меня определили на армавирский завод металлоконструкций отливать детали, – продолжил старик. – Я работал и учился в школе. Два года жил в приютившей меня заботливой семье инженера завода Василия Григорьевича Островского, но вдруг затосковал по родным местам, по матери, сёстрам и братьям и решил съездить на родину. В станице Темнолесской нашёл родную тётку Евдокию, увидев меня, она зарыдала: «Ванечка, родненький, где же ты скитался столько времени? Тебя все обыскались. Думали, что и в живых уже нет. И только мама о здравии твоём всё молилась. Так трудно ей жить, Ванечка! Возвращайся в Дербетовку, сынок, помоги ей вместе со старшим братиком Серёжей». Я вернулся. Шёл непростой 1936 год. Мне было 14 лет. А вскоре нас нашёл отец. Как оказалось, все эти годы он был не так и далеко: работал на стройке в Будённовске, но сообщить о своём местонахождении не мог, переписка была запрещена.

Я слушал Ивана Петровича и сердце моё плакало. Как такое возможно в цивилизованном мире?! Почему власти так нечеловечески относятся к своему народу? Во имя чего люди переносили такие лишения в родной стране? И как же надо любить свою Родину, чтобы,



несмотря на причинённые страдания и унижения, встать на её защиту в роковой для неё час?!

– В 1939 году жителей Дербетовки, как и других населённых пунктов, относившихся к Дивненской спецзоне, формально восстановили в правах, но вскоре началась война, – продолжил свой рассказ старый казак. – Но на военную службу казаков стали посылать только в 42-м году. К тому времени я окончил 7 классов и с первых дней войны был мобилизован для рытья окопов вокруг Ставрополя и охраны железной дороги. А на фронт мы уходили с отцом вместе пятого июля 1942 года. Потом уже нас разлучили. Я проходил подготовку в городе Пугачёв Саратовской области, а в декабре, в звании химик-стрелок, был направлен в дивизионную химическую роту 2-й ударной армии Волховского фронта. Но знаешь, – Иван Петрович встрепенулся, – мне всё же довелось разок встретиться с отцом на той войне. Маршевая рота шла по городу. Гляжу и глазам не верю: отец! Я бросился к нему, кричу: «Батя, это же я, Иван, твой сын!» Он заметался на голос, увидел меня: «Ванюша, сынок!» Обнявшись, мы некоторое время шли рядом, торопливо делясь новостями. «Куда вас?» – спросил я напоследок. «Под Сталинград», – махнул он рукой вперёд. Я потом долго смотрел ему вслед, а в мыслях было: «Свидимся ли ещё на этом свете?» Бог миловал, мы не погибли в том молохе. А отец умер в 61-м, на Весёловском кладбище похоронили.

Иван Петрович перебирает фотографии, показывает:

– Вот на этой он есть...

И хотя я уже почти не помню деда Петра, но нахожу его сразу. У него выразительное типично казачье лицо: волевое, с глубокими пронизывающими глазами, тонким с горбинкой носом, приметными усами.

2.

...Чуть погодя, приступаю к чтению записок, написанных сухим, констатирующим события и факты языком: «Во время упорных боёв был тяжело ранен в голову под селом Ахтырка...»

Я прервался, рассматривая карту «Контрнаступление советских войск под Курском». Вот она, Ахтырка. Здесь могла оборваться жизнь ещё одного воина. И не случилась бы после войны его встреча с темноглазой казачкой Марией Черниковой, и не родился бы у них Колька, мой товарищ.



Сколько оборванных жизней и не сложившихся судеб – страшно подумать! Человек как пылинка в круговороте событий, исчезновение одного можно и не заметить...

О чём думал раненый боец Иван Кравченко, истекая кровью у той самой Ахтырки под высоким ясным небом, я не стал спрашивать. Мне почему-то вспомнился вдруг эпизод из «Войны и мира» Льва Толстого, где раненый князь Андрей Болконский, подняв глаза, увидел такое же, наверное, небо, и ему открылся смысл жизни...

После я специально перечитал это место в романе, представляя между тем не литературного героя, а конкретного бойца Ивана Кравченко: «Как тихо, спокойно и торжественно... не так, как мы бежали, кричали, дрались... совсем не так ползут облака по этому высокому небу... Всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба...»

Ивана Петровича подобрали санитары и вывезли с поля боя на подводе. Потом его отправили в омский госпиталь. После долгого лечения он окончил ускоренные курсы в военном училище имени Фрунзе и уже командиром стрелкового взвода попал на Первый Белорусский фронт. Участвовал в Висло-Познаньской операции и получил свою первую боевую медаль «За освобождение Варшавы». Более полумиллиона советских воинов сложили головы за польскую столицу. Ивану Петровичу повезло, но до победы было ещё далеко. И как непросто было выжить, когда в лицо постоянно заглядывает смерть. «Не расслабляйся, солдат, будь осторожен, обернись по сторонам: уж не за теми ли деревьями леса, откуда противник обстреливает дорогу, стараясь блокировать продвижение русских, ждёт тебя гибель?»

Лейтенант Кравченко ситуацию анализирует, мгновенно ставит задачу:

– Будем выбивать противника.

Рота пехоты, в которой осталось пятнадцать человек, и рота автоматчиков в ещё меньшем составе бегом, а где, прижатые огнём фашистов, ползком идут в атаку.

В своих записках старый воин вспоминает: «Приказ выполняет беспрекословно. Идём с безразличием к опасности, к смерти. Но это «старики», а большинство солдат из пополнения, совсем пацаны, они ещё не обстреляны, им страшно. Один такой, молдаванин, кричит:



– Да товарищ лейтенант, они же стреляют, они же убивают! Но мы идём вперёд. Как могут идти на верную смерть только святые».

Я смотрю на Ивана Петровича, он сидит немного ссутулившись и подавшись вперёд, взгляд направлен куда-то мимо меня, словно сквозь залепленное мокрым снегом стекло всматривается он в то страшное далёко, где у самой кромки леса споткнётся всё же солдатик – молдаванин и будет беззвучно что-то шептать и хвататься руками за землю, ещё не веря, что уходит в бессмертие...

А Иван Петрович за войну ещё будет и ранен, и контужен, и повстречается с американцами на реке Эльбе, и сфотографируется в Берлине в День Победы со своими оставшимися в живых товарищами.

3.

Теперь, годы спустя, бессонными ночами мысли часто уносят постаревшего ветерана в январь 1943 года, под Ленинград, где он участвовал в прорыве блокады. И где в районе рабочих посёлков № 1 и 5 соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов.

Иван Кравченко был среди тех бойцов, кто бросился навстречу друг другу, несказанно радуясь победе.

Или вспомнится ему селение Зелёный Гай: отступающие немцы устроили там такую бомбёжку, что несколько часов было темно от пыли, дыма и смрада...

А то ещё привидится седому воину, как бежит он, молодой, чтобы в атаке прорвать оборону фашистов у города Кольберг, утопая в липкой мартовской грязи.

Это за те бои с выходом на побережье Балтийского моря ему будет объявлена благодарность главкома товарища Сталина. Пожелтевший листок, пропахший нафталином, до сих пор хранится как подтверждение мужества бойца. А рядом – книга маршала Жукова с множеством пометок Ивана Петровича. Как вехи той войны, они пестрят на страницах, обозначая его личный фронтовой путь.

...Я вышел проводить Ивана Петровича.

Зябко кутаясь в старенькое пальто, он уходил в снежную слякоть.

Долго я смотрел ему вслед, и мне почему-то казалось, что его бой за свободу Родины ещё не закончился...



Впрочем, это уже от нас, детей уходящих ветеранов, зависит: сохранится ли Россия в веках или её размежуют чужие племена...

4.

...Три года назад хутор Весёлый простился с последним своим воином на той Великой Отечественной войне. На погосте ко мне подошла тётка Мария Сыромятникова, соседка Ивана Петровича по улице, и, стесняясь, заговорила, как о живом:

– Я много лет работала с Петровичем на элеваторе. Я-то знаю, что человек он терпеливый, никогда о другом не скажет с бухты-баряхты... Вот написала стихи, хочу прочитать у могилы да боюсь: бабы потом засмеют, скажут: «Вот поэт нашлась...»

– Не переживайте, – утешил я тётку Марию. – Вы же от души написали.

И тогда с сердечной теплотой, но с заметным волнением, простоя русская женщина дрогнувшим голосом произнесла у могилы Ивана Петровича Кравченко обычные вроде бы слова, но так произнесла, словно читала молитву:

Спасибо, Солдат, спасибо, родной,
За то, что командовал ротой.
Спасибо, Солдат, спасибо тебе,
За то, что ты спас нашу Родину!

Следом прозвучали залпы прощального салюта! Люди склонили головы: достойный человек покидал земную обитель, и перед ним распахивалась неведомая вечность!

МЕЧТА ДЕДА РОКАЛЯ

Зимним утром в легковушке Пал Ваныча (так его величают на хуторе все: и взрослые, и дети), мужа моей сестры Татьяны, мы ехали в Ставрополь, чтобы забрать выписывающуюся из больницы маму.

Дорога была трудной: заносы снега, густой туман за окном, но в машине было тепло – топилась печка.

Чтобы скоротать время и снять дорожное напряжение, я спросил Пал Ваныча:

– А помнишь ли ты деда Рокаля?



– Конечно, – отвечает, – приметная личность у нас в Баклановке была.

– А какие ворота у него расписные были, помнишь?! – затравливал я разговор.

– О, размалёванные! – подтвердил Пал Ваныч. – Дед специально художника из Ставрополя выписывал, и не отходил от него, пока тот не выполнил его заказ. Дед Алёха и сам пытался рисовать, да бабка закрашивала его художества. А теперь он пригрозил ей: «Замажешь – разведусь с тобой, старая!»

– Да, – поддакиваю я и развожу руки в стороны. – Во всю ширь ворот был запоминающийся сюжет: величественный орёл, разрывающий когтями змея... Такой визитной карточки ни у кого не было в станице, да и во всей округе.

Пал Ваныч торопливо вставляет:

– А над орлом надпись: «Сталин», а под змеем: «Гитлер». Так он решил увековечить нашу победу над фашистами.

– Когда бабка Наталья умерла, – напомнил я, – дед с этими воротами переехал на наш хутор Весёлый в примачи к бабке Орлихе.

– Да это он сбежал от Рокаля, внуков своих! – воскликнул Пал Ваныч. – Они его совсем затерроризировали.

– За что же так?

– У деда было много самодельного вина из винограда, – начал свой рассказ Пал Ваныч. – Он хранил его в погребе под замком, а ключ всегда при себе держал. Но, случалось, задремлет, а Рокалята, Сашка с Генкой, стащат у него ключ, винцо достанут из подвала, попивают себе, пока не рухнут мертвецки пьяные. А если не найдут ключ, украдут у деда вставную челюсть. Он её на ночь в стакане с водой на столе держал. Дед проснётся – стакан пустой, как завтракать?! «Ах, вражьи дети, ах, супкины сыны!» – ругается на внуков, – отдайте зубы!» А те ни в какую, говорят: «Рокаль, дай вина – отдадим зубы!» Ничего деду не остаётся, как достать вино из погреба в обмен на свои зубы.

Некоторое время Пал Ваныч молчит, долго вглядываясь в дорогу, – как бы не зацепить впереди идущую машину, крепко держит «баранку».

– Однажды он нас вином отпотчевал. Сидели мы у Николая Сазонова, Косого. Помнишь, он у нас в электроцехе работал? У него прозвище станичное Сват.



– Как же, помню Свата, – отвечаю, – весёлый был человек, царство ему небесное!

– Ну вот, – продолжает Пал Ваныч, – сидим мы у Свата... Я, Сват и Коля Ефремов, который Пикна. Их же, Ефремовых Николаев, в станице двое. Который рыжий – Пикна, а который чёрный – Капок... Выпивка у нас закончилась. Сват говорит: «Пошли к куму Рокалю». Он почти напротив жил, – поясняет Пал Ваныч.

– Почему он сказал к куму? Он же ему по возрасту дед? – интересуюсь я.

– А потому, что Сват, а раз Сват, то ему в станице все как бы родня. Вот и деда он кумом звал.

И продолжил:

– Налил нам дед Рокаль вина на пробу. «О, хорошее вино! – говорим. – Давай литров десять». Дед продал нам целое ведро вина. Пришли мы к Свату, стали пить. Что за ерунда! Дрянь какая-то! Только цвет, может, винный.

– Водой, что ль разбавил? – интересуюсь я.

– Ды какой там! – возмутился Пал Ваныч, как будто только сейчас отпробовал рокалёвского вина. – Небось, бочку из-под вина ополоснул, чтоб только запах был. А мы-то не совсем трезвые уже были. «От заразы ж дед... От жешь Рокалюка, – ругается Пикна. – Пошли к ответу призовём», – предлагает Свату и мне. Пришли мы к Рокалю: «Дед, ты что ж нам подсунул?» – говорим. «Ды, ребятушки, пейте, пейте, она своё возьми, – убеждает дед, – вино хорошее». Ну мы и растерялись: может и правда, дед ни при чём?! Пошли мы дальше гулять. Утром Сват, опухший от выпитого, попался на глаза Рокалю. Тот ему сходу и говорит: «Ну, вот, видишь, Колюшка, говорил же я, что вино своё возьми». «Ага, узяло, – передразнивает деда Сват, – так узяло, что я усю ночь у сортир носился, как угорелый. Спасибо тебе, кум, чуть кишки не слиплись».

Пал Ваныч оборвал свой рассказ, глядяваясь в туманную дорогу. Ближе к Ставрополю пелена стала ещё гуще. Видимость ухудшилась. Машины гуськом, медленно тянулись друг за другом. Редкий водитель рисковал пойти на обгон, боясь сшибиться со встречной машиной.

– А знаешь, Пал Ваныч, – говорю грустно, – а ведь у деда Рокаля мечта была – памятник станичникам, погибшим в Великой Отечественной войне, поставить. Он даже эскиз набросал на подвернув-



шемся бумажном листке. Он тогда ночным сторожем в ПМК работал. Ночи длинные, думок много. Решил, что памятник должен быть воздвигнут от имени женщин, ждавших с войны своих родных. Этот эскиз хранится в моём архиве. Конечно, он примитивный, но говорит о сердечности старика. Он хотел, чтобы в поколениях помнили тех, кто жил в станице и положил за неё голову. Мне говорили, что дед составил и поименный список репрессированных станичников и передал кому-то из чиновников с просьбой опубликовать, но никто ничего не сделал, а список исчез. Очень жаль! За каждой фамилией – судьба конкретного человека.

Я вздохнул, и дальше, почти до самого Ставрополя, мы ехали молча, погружённые в свои мысли и воспоминания.

Я думал о деде Рокале, с которым мы состояли в далёком родстве: его дочь Антонина Алексеевна была замужем за моим двоюродным дядей по материнской линии Николаем Петровичем Врацким. Раньше родственники встречались на престольных праздниках, свадьбах, похоронах или просто заезжали в гости друг к другу, много общались. Я знал: за свою непростую жизнь дед успел даже ктиторм побыть в станичной церкви. Однажды после обедни пришли они с батюшкой домой к деду Рокалю более чем навеселе. Бабка Наталья, посчитав такое их состояние позорным для служителей церкви, невзирая на присутствие батюшки, стала ругаться:

– Ды рази ш можна была тах-та нализаца!

– Цыц! – остановил её дед. – Я с церковным иерархом! Бяри лучша рокаль и доставай борщ из печки, будем с батюшкой обедать.

Дед хотел сказать рогадь, но на нервах перепутал.

– Рокаль ты, рокаль! – покачала головой бабка, но на стол всё же собрала. Казачьи жёны раньше слушались своих мужей.

Не с тех ли пор деда Алёху Демонова (Алексея Андреевича) в станице стали кликать Рокалём? Была и другая версия: прозвище досталось ему от отца, который в детстве вместо буквы «к» произносил букву «г» и тоже споткнулся на слове рогадь (рогач). Так это или нет, уже не узнать. Но теперь, если кто спрашивает про Демоновых, у них интересуются: «А каких вы имеете в виду: Рокалей, хохлушкиных или Шлёпов?» Всех станичных однофамильцев отличают по прозвищам.



...Вернувшись из Ставрополя, я стал рыться в своих бумагах и нашёл-таки пожелтевший канцелярский бланк с дедовым эскизом. В верхнем правом углу листа он корявым почерком нацарапал: «В этом мести будит фотокарточка скорбящая матери – гириины».

А внизу, по его задумкам, должны быть расположены «фотокарточки погибших войнов» с указанием их фамилий. В левом верхнем углу помещён небольшой текст:

«Мы женщины станицы Баклановской Ваши жоны матери сёстры погибших наших мужей отцов братьев С большими слезами и скорбями споминаем о вас. Сколько мы пролили слёз за войну Прошло 35 лет как разгромили врага, а слёзы ни пиристают с глас лить. Вот наша дорагия мужья отцы братья как нам дюжа больна и скорбна и жалка Вас. Вы погибли за родину и Рус святую Но вас нет зли нас. Не с ким нам ни поговорить и беду развести. Спитя наши жалкая и ожидайтя нас».

Я подумал: дед Рокаль был одним из многих станичников, порой чудоковатый, иногда – хитрован, в меру предприимчив, и всё же, по наитию, что ли, способен был возвыситься над обыденным в минуты своих вдохновенных мечтаний.

Я перевернул листок. На обороте дедовой рукой было написано: «Как нада составлять ликарства из прополюса», а ниже пометки, что такого-то числа «агулина» корова, а потом шёл подсчёт «кролов» по масти, среди них один «трус», т.е. кролик-самец.

Дедовская «бухгалтерия» была мне понятна. Это был всего лишь штришок привычной станичной жизни, в которой всё перемешалось: каждодневные дела и мысли о высоком, смешное и серьёзное, пустячное и значимое. Не это ли есть сама жизнь?! Так жили казаки в станицах прежде, до нас, так будут жить и после: веселясь и печальясь, но всегда любя свою Отчизну, свой милый край.





МОСИЕНКО
Александр Алексеевич
Пятигорск

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ. ИЮНЬ 41-го

Как соль на солдатской рубаше осталась,
Так память в душе навсегда прописалась
И держит меня своей крепкой рукой...
Руины, руины и фортов глазницы.
Стоит непокорная крепость границы.
Здесь кончились мирные дни и покой.

И вот надо мною нависла блокада,
Но мне под огнём её выстоять надо,
Страну и себя сохранить, отстоять.

Ревут самолёты и рвутся снаряды,
На нас наступают фашистов армады.
А дома, далёко, тревожится мать:

Живой ли сыночек? Жива ли граница?
Дай, Боже, границе не осрамиться...
Но фронт отступил. Нелегко отступить.

А крепость осталась. Куда ей деваться?
Нет выхода, кроме сражаться, сражаться,
Хотя гарнизон истощён, поредел.

«Я – Крепость... Я – Крепость...
Пришлите подмогу!»



Подмогу прислать ниоткуда не могут,
А значит, оставшимся драться удел.

Итак, мы в тылу у врага остаёмся.
Но это пока. Мы врагу не сдаёмся.
Мы этот кусочек страны не сдадим.

И пусть маме только хорошее снится.
За Родину и за неё нам нельзя осрамиться,
И значит, врага разобьём, победим!

РЕКА БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Шумит река Бессмертного полка,
Своей волной полмира обнимая,
Ведёт её не чья-то там рука,
А воля всенародная, живая.

Река, река, о, как ты глубока,
И нет тебе конца наверняка!

Ты вся из тех, кто не пришёл с войны.
Чьи фото сохранились в каждом доме.
Поклон тебе
от всей когда-то раненой страны,
Живущей ныне в новом переломе.

Река, река, о, как ты глубока,
И нет тебе конца наверняка!

Не видел Мир такой большой реки,
Куда вошли все наши радости и беды:
Плечом к плечу и молодёжь, и старики –
Святое продолжение Победы.



Шумит река Бессмертного полка,
Своей волной полмира обнимая.
Ведёт её не чья-то там рука,
А память всенародная живая.

Река, река, о, как ты глубока,
И нет тебе конца наверняка.

ПОСЛАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Мы уходим, а вы остаётесь,
И одно лишь хотелось бы знать –
По какой вы дороге пойдёте,
Той ли, где наша Родина-мать?
Или вас на обочину бросит
Ураганом неведомых сил,
Чтоб никто ни единым вопросом
Ваши души не бередил?
Или всё-таки верой и правдой,
Засучив посильней рукава,
Вы послужите отчему краю.
Чтоб осталась Россия жива,
Чтобы облик её величавый
Не посмели Иуды марать,
И, как прежде, великой державой
В мире стали её называть?

Мы уходим, а вы остаётесь.
И одно лишь хотелось бы знать,
Что по той вы дороге пойдёте,
Где раскинулась вечная Родина-мать...



ДЕРЖАВА

Отрывок из повести

«Тётя Нюра Большая и тётя Нюра Маленькая»

Немецкий офицер и наш прихвостень-полицейский нагло снимали со стены Свято-Никольского храма иконы и складывали их в мешок. Отец Иоанн продолжал службу. Все молящиеся со страхом поглядывали на непрошенных гостей. Офицер механически повторял: «Дизе, дизе...» («Эту, эту...»)

Вот они остановились у иконы матери Божьей Державной. Её после первого разора церкви в тридцать втором году принесла сюда недавно тётя Нюра Большая. Она сумела сохранить её. А сейчас, молясь перед алтарём, она с ужасом подумала, что её любимая икона окажется в мешке этих иродов. Память отца – в мешок? Ни за что!

Отец, это мой дедушка Саша, которого я никогда не видел – он умер ещё до моего рождения. У них на хозяйстве была одна корова, две лошади, плуг с бороной и шестеро детей. Всё, кроме детей, как у кулаков, отобрали. А в хате – пусто, «хоть шаром покати». Нет, было ещё две иконы – Моление о Чаше и Державная...

Перед смертью дедушка позвал бабушку:

– Марфинька, береги...

– Чего беречь? – вытирая слёзы, спросила бабушка.

– Иконы береги... Моление о Чаше завещаю тебе, а Державную Нюре Большой. А Маленькой – мой крестик. Мальчишкам – эта хатка... Берегите себя.

Сколько раз бабушка Марфа рассказывала детям, как всё было...

Непрошенные гости остановились у этой иконы. Офицер прищелкнул: «Щён, зэр щён!» – лопотал он по-немецки («Красиво, очень красиво!»). И хотя тётя Нюра не понимала, что говорил этот откормленный фашист, сообразила, что икона ему понравилась. И, как орлица к своему гнезду с птенцами, бросилась к любимому образу. Став к нему спиной, так закричала, что голос её мощным эхом отозвался под куполом храма.

– Не отдам Державу-у!

– Тётка Нюрка, ты что, сбесилась? Он же тебя прихлопнет, – рявкнул полицейский.



– Державу не отдам! – громко повторила тётя Нюра. – А ты, поганец, не подходи близко, ты меня знаешь, я те мигом горло перегрызу.

– Вас ист лос? – спросил улыбчивый офицер. – Что случилось?

– Не хочет отдавать эту икону, – услужливо ответил безусый полицейский.

– И не отдам! – подтвердила тётя Нюра. – Держава моя!

Офицер расплылся в слащавой улыбке, наклонился к лицу тёти Нюры и сказал:

– Матка не понимайт, что есть немецкий офицер?

Распрямившись, он подал какой-то знак полицейскому, тот сделал пару шагов вперёд.

Но тётя Нюра мгновенно сама сорвала икону со стены и, прижав её к груди, повторила:

– Моя Держава!

И тогда полицейский и офицер стали стрелять в стенку вокруг тёти Нюры. Пули бились об стенку, рикошетом отлетая в сторону, а тётя Нюра стояла, не шелохнувшись. Большинство перепуганных прихожан с криками бросились бежать из храма. Но она по-прежнему стояла с иконой, прижатой к груди, и было видно, как её губы шептали какую-то молитву. Офицер жестом остановил стрельбу, подошёл вплотную к тёте Нюре.

– Матка любит искусство? Зер гут!

Затем похлопал её по щеке и отошёл к мешку. Светясь счастливой улыбкой коллекционера, остановил ретивого полицейского:

– Генуг! Довольно!

А тётя Нюра стояла, как заколдованная, и вслух повторяла: «Моя Держава... моя».





НАРЫЖНАЯ
Валентина Васильевна
Шпаковский район
станция Новомарьевская

БАБЬЯ ПЕСНЯ

С ума сводила бабья песня
И болью сдавливала грудь,
Как будто сердцу стало тесно:
Не выдохнуть и не вздохнуть.

А бабы пели скорбно, громко,
И песня та до всех дошла...
Заката чёрная каёмка
На плечи им платком легла.

Неслась та песня по округе
На все четыре стороны –
О том любимом, верном друге,
Что не пришёл домой с войны.

Ждала та песня мужа, сына
И свято верила в успех,
Была та песня, как судьбина:
Одна на всех, одна за всех.

И зазвенел вдруг чист и тонок –
Совсем девичий голосок,
И рвал сердца он, как осколок,
Как память, бьющая в висок.



МАЙ ПОБЕДНЫЙ

Май цветущий восходит на трон,
Май победный стучит во все двери.
И голóсит у хаты гармонь
За великие наши потери.

И несут к обелиску цветы,
Где сомкнули ряды ветераны.
И от светлой людской доброты
Затихают солдатские раны.

В поредевших рядах – тишина
И как пепел у чёрной воронки.
Пред глазами проходит война
В окровавленной гимнастёрке.

И воскресшие лица друзей,
И победное красное знамя.
И пустые глаза матерей,
И святое: Победа за нами!

Полыхает Огонь на ветру.
У иконы засветят лампаду...
Я ладонь ветерана держу,
Как великую жизни награду.

МЕДАЛЬОНЫ

Медальоны святые,
Сколько их под землёй!
Медальоны родные,
Возвращайтесь домой.

В день, когда ты в бою упал,
Появился твой сын на свет.
Он тебя не видал, не знал,
Тосковал только много лет.



Был красивым он, как и ты, –
Словно вылитый твой портрет.
Сын пошёл по следам войны,
Чтобы там отыскать твой след.

И однажды домой пришёл
С медальоном твоим в руках –
Он нашёл тебя, он нашёл
Среди тысяч, ушедших в прах...

А потом сын прошёл Афган,
А потом и не знаю, где...
Он однажды в бою упал
На какой-то другой войне.

Ты прости меня, мой родной,
Что я сына не сберегла.
Внук наш вырос уже большой,
Он поклялся найти отца.

Медальон на его груди –
Тот, с которым ходил ты в бой,
Внук, прощаясь, сказал мне: «Жди»,
Только сам не пришёл домой.

Вместе с Красной Звездой в дом
Вновь печальная весть пришла.
Ты прости меня, мой родной,
Что я внука не сберегла...

Дни мои уже сочтены,
Ты меня выходи встречать.
Там, родной мой, и сможем мы
Наших сына и внука обнять.



Медальоны святые,
Сколько их под землёй!
Медальоны родные,
Возвращайтесь домой.

ТОПОЛЯ

Утро синее-синее,
Снег уходит с полей.
С хрустом падает иней
С тополей, с тополей.

Тополя-исполины
Седовласы, стройны.
В сорок пятом к Полине
Не вернулись сыны.

Сразу пятеро... В память,
Где зачах палисад,
Тополя посадила
По-за хатю в ряд.

Укрывала их в стужу,
От жары берегла.
И, чтоб в горе ей сдюжить,
С ними речи вела:

– Просыпайтесь, сыночки,
В поле ехать пора.
Поле пашут подростки –
Самоё детвора.

Там бы рученьки ваши
Пригодились как раз...
А соседushка Глаша
Ждёт кого-то из вас.



ОВСЯННИКОВ
Сергей Данилович
Изобильненский район
посёлок Солнечнодольск

НАГРАДЫ РОДИНЫ

*Посвящаю моему отцу,
участнику Великой Отечественной
войны
гвардии сержанту
Овсянникову Данилу Филипповичу*

Как память о суровой правде
(Цена ей очень высока),
В родительской саманной хате,
На дне глубоком сундука,
Лежали книги и тетради
Уж пожелтые слегка.

Ещё покоились медали
И в бронзе, и в ином металле –
Времён войны Великой след.
Едва на них ложился свет,
Они таинственно блистали,
Как звёзды нам сквозь толщу лет.

Я взял священные награды,
Поближе к свету подошёл
И надпись первую прочёл:
«За оборону Сталинграда»...
Огонь смертельный и большой
Отец тушил, не славы ради.



Медаль вторая «За отвагу».

Что жизнь?! Когда суров приказ:
«Сил не щадить. Назад ни шагу!»
За то, чтоб я вот жил сейчас,
Он в рукопашную, в атаку
Ходил, пророчеств не страшась.

Медаль «За взятие Берлина».

Ей полных лет 75...
Как воды рек не хлынут вспять.
Так наша память не остынет!
Весь жар победных битв доныне
Награды Родины хранят.

**Отрывки из перевода поэмы «ЗУРЯТ»
черкесского поэта Хизира Абитова**

1.

Словно женщина в чёрное вдруг облачилась,
На заре солнце в скопище туч закатилось,
Вызвав панику в гнёздах чувствительных птах,
Боль в сердцах у людей и тревогу в глазах.

Разразилась война!.. Медь трубы громынула.
Знак мужчинам – явиться на пункт призывной.
Так пришлось в этот раз: из родного аула
На защиту страны встанет каждый второй.

Не сегодня, так завтра им понюхать придётся
Фронтowego огня грубый, горестный дым.
Кто-то в дом свой уже никогда не вернётся,
Лишь останется в памяти всех молодым.

В неизвестную даль потянулись подводы,
Слёзы женщины льют, уж теперь не таясь.
Возмужалый Назим к своей ладе подходит.
Кто же знает, насколько прервётся их связь?



Тёплый свет лучезарный струит её взгляд,
Греет душу любимого так, чтоб отныне
Помнил лишь о своей ненаглядной Зурят
В чью ладонь положил он колечко с рубином.
– Думай ты обо мне и колечко храни, –
Произнёс потрясённый разлукой Назим...

Тяжело провожать на войну аулчан.
Напоследок всю горечь разлуки изведав,
Им родные сквозь слёзы вдогонку кричат:
«Возвращайтесь с победой!..»

2.
В сгустившихся сумерках ветер свистит над аулом,
Старается в клещи жилища замёрзшие взять,
А жители, помня о тех, кто с врагами воюет,
Бойцам шерстяную одежду садятся вязать.

И в первую очередь девушки за рукоделием.
Затейница главная здесь, безусловно, Зурят:
Она – и подруга, и добрый советник девчат.
Бойцы в письмах с фронта их искренне благодарят.

Однажды к Зурят в дом вбежала Чоткоева* Дина.
За руки схватив её, тут же взялась танцевать.
– Ты весть от Мурата с войны получила, видать?
В глазах твоих радость, – подругу хозяйка спросила.

– Тебя, погляди, твой Назим нынче радует тоже,
Опять письмецо – треугольник он с фронта прислал...
И ласточкой сердце в груди, и мурашки по коже:
– Какие ж слова мой возлюбленный мне написал?

«Зурят, дорогая! Ты счастье моё и отрада!
Я жив и здоров, и надеюсь, что скоро вернусь.
Здесь рядом со мной бьются храбро с врагами ребята
За Родину нашу – Великий Советский Союз.



Во сне, в передышках нечастых я вижу то место,
Где в прошлом недавнем тебе рву цветы и дарю.
Потом мы идём по опушке эдемского леса,
Что прямо под башней раскинулся – под Адиюх»**...

*Чоткоева – вымышленная фамилия.

**Адиюх – башня в Карачаево-Черкесии.

3.

В борьбе с ненавистным врагом,
Мечтам и заветам верны,
Как дети отца одного,
Сплотились народы страны.

И дочери, и сыновья,
Вкус жизни ещё не познав,
Подобно горянке Зурят,
Ушли на тропу партизан.

4.

Чтоб бед на друзей не навлечь,
В означенном месте условном,
Кирпич, что лежит за обочиной,
Швырнёт она в яму и – прочь домой
Глухими, короткими тропами,
Где детство босое протопало...

Уж полночь. Скорей бы заснуть.
Но мысли ей спать не дают.
«Ведь это же просто маразм:
Все парни в окопах воюют,
А прихвостень вражий Мазан
Разгуливает по аулу.

Отсрочку, видать, получил он,
(Нет пальца на правой руке).
Но вот по какой же причине



На вражеской он стороне?
Таким ли быть должен адыг,
Кто суры Корана постиг?!
А если во тьме обозналась?»
В раздумьях Зурят задремала.

Но что это?.. Шум за окном,
Иль чутким наваяно сном,
Что кто-то решил схорониться
В кустах, чтоб за домом следить?
Колотится сердце в груди
Как в клетке невольница-птица.

К окошку Зурят подбежала
И видит, в глубокой ночи
Во двор к ним тяжёлым кошмаром
Врываются трое мужчин.

- А ну, открывайте скорее! –
Послышались крики за дверью.
Потом в неё так застучали,
Сестрёнки аж всхлипывать стали...

Одежду надев второпях,
Промолвила мать: – О, Аллах!
Кого принесло к нам так рано?
– Немедля открыть!
– Партизанен!
– Признайтесь, их много у вас?..
Дверь в эту минуту как раз
Со слабых петель сорвалась.

– Хабала, Мазан... Ах, ты мразь! –
Зурят едва не закричала.
– Вы служите лютым врагам,
Чтоб рыскать как звери ночами
По нашим родимым дворам...



В ауле все знают: Хабалу
Ещё до войны осудили.
Мазурику восемь лет дали,
Да фрицы вот освободили.

Подручные грозно кричат:
– Скажи, комсомолка Зурят,
Кто немцев секреты выведывал?
– Я, право, не знаю, не ведаю.

– Ах, вот ты гордячка какая...
Ну, знай же: таких мы пытаем.
Вот так...
И надменный Хабала
Стал руку выкручивать ей.
От боли Зурят закричала.
С ней вместе и мать зарыдала,
Прижав к себе младших детей...

5.
Ветер лихолетья,
До рассвета
Во дворе тюремном
Перестань рыдать!
Горький,
Грозный ветер,
Напоследок
Дай родную маму
Увидать.

Дай поговорить мне с ней
Неспешно,
Я хочу налюбоваться мамой.
Дай поговорить мне,
Ветер,
С папой,
В мир иной
Давно от нас ушедшим...
Скоротечен жизни путь –
Невмочь!
Мне бы
На одно мгновенье встретить
Всех друзей.
Будь милосердным
Ветер,-
Пусть на миг
Длиннее станет ночь...

Ветер лихолетья,
Ночью этой
За стеной темницы
Перестань рыдать!
Ведь на белом свете
Жить мне и мечтать
Лишь всего осталось –
До рассвета.





ОКЕНЧИЦ
Наталья Владимировна
Михайловск

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Год памяти и славы
Приветствует страну.
Наш мир и наша правда...
И не забыть войну.

Страны великой знамя...
И все бойцы в строю.
Жива святая память.
Над Родиной – салют.

Мы помним всех погибших.
Раскат войны умолк.
Но вся планета слышит:
Идёт Бессмертный полк.

Спасённая держава...
Бессмертная судьба...
Единство... Верность... Слава...
Победная весна...

КОМНАТА БОЕВОЙ СЛАВЫ **в Геленджике**

Двери открыл навстречу
Отзвук далёких лет.
В комнате славы вечной
Яркий зажётся свет.

Как же могло случиться?
Столько померкло глаз!..
Наших героев лица
Молча глядят на нас.

Куников и Ходенко...
Лётчики и врачи...

Вот Мурадян, Шульженко...
Сердце сильнее стучит.

Подвиг Новороссийска,
Помощь Геленджика
Будут с тобой, Россия,
В памяти. На века...

Мирно под небом синим
Жизни текут года.
Скажем тебе: «Спасибо,
Славной страны солдат!»



БАТАРЕЯ ЗУБКОВА*

Наша память– всей жизни основа.
Уж давно завершились бои...
Неспроста батарея Зубкова
До сих пор на Пенае стоит.

Здесь растёт можжевельник на склоне
В ареале святой тишины.
Я к земле приложила ладони
И слышала голос войны.

Это залпы тяжёлых орудий,
И огня разрушительный шквал.
Погибали за Родину люди.
Кто-то близких в бою вспоминал...

Был заслон для десанта морского.
Был судам обеспечен конвой.
Только не было места живого
На земле, утомлённой войной.

Знаю, веру в Победу не предал
Командир батареи Зубков.
Смерть нещадно ходила по следу,
Но победа ждала моряков.

...Солнце мирно, по-щедрому греет
Краснодарский живительный край.
Показалось, не спит батарея
На взволнованном мысе Пенай.

*Теперь на том месте, между Новороссийском и Геленджиком, на той же позиции расположен Мемориальный комплекс «Батарея-музей»...



ДЕВЯТОЕ МАЯ

Каждый год, словно долг выполняя,
Распускается щедро сирень.
День Победы. Наш памятный день –
Светлый праздник – Девятое мая.

Год от года понятнее горе,
Боль утраты и радость наград.
На земле, в небесах и на море
Погибал человек, мой собрат.

Разве можно букетом сирени
Эту общую боль искупить?
Тот, кто умер на поле сражений,
Остаётся в истории жить...





ПАСЬКО
Иван Андреевич
Будённовск

ПАМЯТЬ

Ровеснику

Отсчёт свой ведём мы
От Тридцать Седьмого –
Теперь уж далёкого.
Предгрозового.
Нам мрачного в детстве
Изрядно досталось.
А светлого - только лишь
Самая малость.
Сквозь всю нашу жизнь,
Словно призрак, проходит
Зловещая тень
Сорок Первого года.
...Плач мамы,
Меня и братишку прижавшей,
Родни причитанье,
Отца провожавшей.
Вещало ль им сердце
О том, что отцу
Уже не вернуться
К родному крыльцу?
И что через год
На отцовский порог
Фашистский непрошено
Ступит сапог?

...Померкли от горя
Арзгирские дали.
Здесь первыми жертвами
Беженцы стали.
Их путь к нам в село
Пролегал с Украины,
А кончился смертью
В Чограйской долине.
Средь сотен убитых –
Курчавый мой сверстник,
С которым в то лето
Мы бегали вместе.
...Полгода в Арзгире
Стояли фашисты.
Оставили память
Работою «чистой».
Амбары крестьянские
Стали пустыми.
Скот, птицу отняли,
Под нож их пустили.
А что не сожрали,
То взяли с собою,
Когда в Сорок Третьем
Снимались с «постоя».



И чтобы подольше
Их помнить могли –
Районную мельницу
В ночь подожгли.
Уход свой отметив
Гигантским костром,
Кровавейшим заревом
В небе ночном.
...Откуда-то мама
Плакат принесла.
Повесила в хате
Чуть выше стола.
Там всё до деталей
Припомнить могу:
Солдат. Лазарет.
Пионер на лугу.

«Траву для лекарства
Сорви, патриот!
Воин поправится –
Немца убьёт!»
Не только лекарство
Мы в травах искали,
Весною голодной
Травую питались.
А в зной колоски
Собирали колхозу,
И пот проливая при этом,
И слёзы.
Уж сколько лет минуло,
Но и поныне
Об этом как вспомнится,
Кровь в жилах стынет.

ПЕСНЬ О КОРОВЕ

На постаменте – танк в броне
Как память о поре суровой.
Но жаль, что в память о войне
Не ставят памятник корове.

Тех, кто войной не опалён
Возможно, рассмешит сей довод.
А нам он вовсе не смешон.
Мы песнь корове петь готовы.

На ней в войну держалась жизнь
В селе голодном и холодном.
Лишь ей благодаря спаслись
Мы, дети той беды народной.

Она кормилицей была.
Да разве только лишь кормила?



Она была взамен тягла
На ней пахали и возили.

В страду на ток возили хлеб.
К Довсуну ездили за солью.
А осенью – за топкой в степь,
Где царство перекасти-поля.

Она несла, несла своё
Невыносимейшее бремя,
Как будто знала: без неё
Не выжить людям в это время.

И как же было тяжело
Нам с нашей Ланкой расставаться!
Сдать в «Заготскот» её пришлось,
Чтобы с налогом рассчитаться.

Напрасно дедушка молил
Налогогента: «Ради Бога,
Оставь коровку!» Тот вспылил:
«Под суд отдам вас за налоги!».

И дедушка налыгач взял...
А я, мальчишка семилетний,
Прощаясь с Ланкою, рыдал,
Но слёзы эти были тщетны.

В тот безмолочный год сполна
Хлебнули участи мы горькой.
Но вскоре выручила нас
Дочь Ланки – первотёлка Зорька.

...Вот потому и мнится мне:
Коль фронт и тыл шагали вровень,
То нужен в память о войне
Ещё и памятник корове.



ГЕРОЯМ КОМСОМОЛЬСКОГО ПОДПОЛЬЯ

Где вязы роняют,
Как слёзы, свой лист,
На холмике скромном
Стоит обелиск.

Здесь в братской могиле
Под алой звездой
Герои подполья
Нашли свой покой.

Покоятся здесь,
Как в земном мавзолее,
И Безрук Надежда,
И Пётр Базалеев,

Василий Лысенко,
Савенкова Нина –
И в праведном деле,
И в смерти едины.

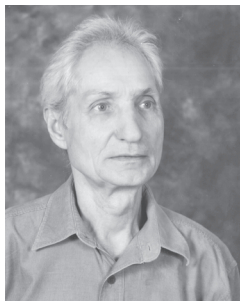
Погибли они,
Но к живущим вернулись
В легендах и книгах,
В названиях улиц.

И в праздник, и в будни
Цветы к обелиску
Сельчане несут,
К особенно близким.

Отряд красногалстучных
Рядом шагает.
Здесь юность на верность
Стране присягает.

И в каждой присяге
Как будто слышны
Заветы героев
Священной войны.





ПЕТРОВ
Владимир Григорьевич
Пятигорск

РАСПЛАТА

Немцы входили в небольшой курортный городок, по-хозяйски, беспечно, нагло, в жаркий августовский день, в расстёгнутых рубашках с закатанными по локоть рукавами, под нарастающий треск мотоциклов ровной колонной. А оставляли его зло, нервно, суетливо, круша и взрывая всё без разбору, по весенней слякоти и распутице с холодным дождём и ветром, точно природа назло учинила непогоду.

Небольшой общий двор под номером четыре на Базарной улице с осевшими зелёными воротами жил одной сплочённой семьёй. В нём не наблюдалось склок, ругани, сплетен, а если что и случалось, хоронилось тут же, не выносилось наружу.

В этот хмурый день он не подавал признаков жизни, точно вымер. Обыкновенно раз-два в день женщины собирались у водопроводного крана, обсуждая сводки с фронтов, где воевали мужья, городские новости, попутно заполняя вёдра и бидоны. Но накануне оккупации, в летний полдень, спустя несколько минут, как собрание разошлось, в двух шагах от крана ударил неизвестно откуда взявшийся снаряд. Кран спас толстый орех, приняв на себя большую часть удара. Баба Нюся, всегда сидевшая в белом платочке у ворот, свалилась с табуреточки на землю то ли от страха, то ли от взрывной волны; Маню – маленькую, худенькую, желтокожую, больше походившую на подростка, кутившую на порошке, откинуло вглубь коридорчика, как пушинку; тётя Шура – дородная невысокая женщина, мастерица выпекать воздушные, словно торты, пироги, собравшаяся было снять высохшее бельё, ойкнула, уронив таз, ибо сбитая кора абрикосины чиркнула её по щеке до крови; птицы в голубятне Юры,



тихого и безобидного сына вдовы Полины, испуганно и шумно забились в замкнутом пространстве. Осколки от взрыва брызнули в разные стороны: досталось и стенам, и дверям, и окнам.

Тимофей Макарович, единственный немобилизованный мужик, сухой и сутулый, вечно навеселе, пенсионер, спавший в сарае с открытой дверью, выбрался из прохладного укрытия наружу в трусах и майке, едва разлепив белёсые веки. «В чём дело, Натуся? – спросил он, обращаясь к жене, которая также спала, но в квартире. – Я же на курорте нахожусь!.. Закон – тайга, медведь – хозяин!..» Взрыв достиг и его сарайчика в глубине двора: тонкие стены, толевую крышу, оконце деревянного сооружения и матрас, на коем и располагался старик, повредило, а живое тело, точно заговорённое, даже не задело. Баба Нюся широко перекрестилась, глянула, хмурясь, в небо и молвила: «Это нам, девоньки, сигнал оттуда». И более у ворот – как отшибло – не сидела, да и женская часть у крана впоследствии сходок не устраивала...

Дворня попряталась, с улицы доносились гортанные команды на чужом наречии, треск отъезжающих мотоциклеток, лязг гусениц, рёв моторов, пальба. Ещё вчера был сильный бой, Красная Армия брала реку на краю города, немцы отчаянно, по-звериному, сопротивлялись. Но утром главный мост был взят, и поражение стало ясным, как новый день.

Сильно толкнув ногой провисшую калитку, во двор вбежал хмурый дядька Сергей, узколицый, высокий полицей, живший в конце квартала в комнатке с коридорчиком двухэтажного дома, изъятая революционной властью у его отца – известного купца Леонтия Коробкина, владельца кондитерского цеха и нескольких магазинов. В молодости Серёга подворовывал, был не раз бит базарными торговцами, попал под уголовную статью, обозлился, ненавидел Советы, превратился в хитрого, жёлчного, угрюмого человека, которому всё было не так. Отсидев срок, работать, как выражался, «ишачить» на государство не стал, торговал на рынке всякой всячиной, перебивался шабашками. Поговаривали, что отец его подкупил столько, что хватит на всю жизнь, ещё и внукам останется. Но у младшего Коробкина не было ни жены, ни детей.

Чтоб не попасть на фронт, ушлый купеческий последыш достал липовую справку о нервной болезни, а когда немцы заняли город, стал одним из первых полицаем, заматерел, приободрился, словно



в свою колею попал, сменил взгляд на презрительный и наглый, походку на ревностно-угодливую; хозяйничал в квартале, не щадя никого: коммунистов, комсомольцев, евреев, активистов и тех, кто не нравился – косо посмотрел или когда-то обидел. За усердие новые власти назначили его старшим по околотку, обещали вернуть родительский дом. И дядька взялся составлять списки, кого оставить, а кого выселить из жильцов.

Прозванный за угрюмость характера и недоброго взгляда исподлобья Сычом, полицей на добро оглянулся, ощупал на груди мешочек с золотыми изделиями, деньгами, утёр рукавом небритое лицо. Он не любил весну с непостоянством погоды: ветрами, снегом, дождём; она напоминала ему первый срок на промозглом Севере, лагерь, унижения. Потому Сергей делался ещё угрюмее, мёрз и злился, и даже мысль об утаённых от начальства драгоценностях, не грела.

Сходу устремился в квартиру двоюродной сестры Полины, тихой, бессловесной женщины, потерявшей мужа ещё до войны и жившей с двумя сыновьями. Окна же соседней квартиры по-прежнему были зашторены.

В ней жила еврейка Фаина; и как только был издан приказ оккупантов о сборе евреев якобы на отправку в другой город, а на самом деле на расстрел, Сыч явился сюда. Но хозяйка исчезла. И сестра, и дворовые в один голос отвечали, мол, уехала, куда – неизвестно. Серёга не поверил, знал, что с этого двора, как с Дона, выдачи нет. Но перетерпел, затаив обиду.

– Где Юрка? – крикнул он сходу. – Говори, ехать надо!.. – И заматался по комнатам, жадно зыркая глазами. И там, и там было пусто.

Шестнадцатилетний Юра не одолел и семи классов, заикался, счёт и письмо освоил плохо, явно отставал от сверстников. Причина, как утверждали, была в испуге: будто бы на него, ещё младенца, с потолка упал кусок штукатурки. Возможно, что и так, а может, просто науки не давались. Только вроде как был не в себе: то тихо застынет в угол и часами молчит, то уйдёт в голубятню и там пробудет до вечера в одиночестве, то из-за пустяка расплачется, как малое дитя. Парень он был простодушный, безотказный, и его жалели, как жалеют на Руси сирых и убогих.

Как-то, возвращаясь домой поздним вечером, наткнулся у сараев на воров. Взять им у Юры было нечего, однако чужаки карманы



обшарили, сбили с ног. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если б не подоспели соседи. В итоге незваные гости едва унесли ноги, клумба посреди двора была истоптана вдрызг, а следы крови тянулись аж за воротами. Поутру, когда явился участковый Семён с планшеткой для записи свидетельских показаний случившегося, клумба была как новая, двор чист, никто ничего не видел и не слышал. А Юрка, по обыкновению моргая и заикаясь, твердил, как научили, что синяк под глазом и ссадины на плече от неудачного падения с голубятни. Семён хмыкнул, мол, чего взять с убогого, убрал блокнот и ретировался.

Нахрапистый дядька силой оформил безвольного парнишку в полицию, говоря, что сестра ничего не понимает, что немцы вот-вот займут Москву и тогда и он, и она, и племянш заживут по-человечески: вернут отцовскую фабрику, дом, магазины. Юрку снарядили в экспедицию по хуторам и сёлам добывать продовольствие для армии; ни в облавах, ни в задержаниях, тем более в расстрелах не участвовал. Да и карабин у него был с одним патроном – не доверяли тугоумцу.

– Почему не явился на отправку? – опять наступал Сыч на сестру. – Пойми, Советы поставят к стенке. Погубишь сына, ненормальная!

– Не верю! – вдруг воспротивилась Полина. – Он пальцем никого не тронул!.. А уедет, ещё хуже: я – мать полиция. Как жить, сообщаешь, продажная твоя душа?

– Заткнись, баба! – заорал во всю глотку полицей. С утра он выпил два стакана водки, но это не ослабило напряжения. – Рассуждать времени нет. Ну, где придурок?..

Серёгин мозг накрепко взял себе ещё месяц назад думку – дело принимало не лучший оборот: немца начинали теснить, о взятии Москвы уже нет и помину, а исход войны вовсе туманный. И Сыч не мог себе простить, что обманулся: Советы, как известно, предателей не щадят. Оттого таил надежду, в каком-нибудь захолустье подальше от родных мест, за деньги и золотишко, что подсобрал, заполучить чистый паспорт на другое имя и скрыться. Только не проворонить момент, не упустить шансик, объегорить носителей высшей расы, помыкавших им, словно рабом, надуть, как на базаре, где два дурака: один, который продаёт, другой, который покупает. А это, как любил говорить он, извините, подвиньтесь, у него в крови с малолетства. Причина, толкавшая искать племянника, заключалась ещё и в



том, что с ним – никому другому не доверился – вскрыл тайник отца и перепрятал драгоценный сундучок, закопав на кладбище, в родительской могиле. Выходило, Юрка был тому единственным свидетелем, а свидетелей, как известно, убирают. Сомнения безжалостного полиция не трогали – глазом не моргнёт, шлёпнет, несмотря что родственник. И оттого исчезновение недоумка злило основательно.

– Я не знаю ... – Полина приложила фартук к мокрым глазам, другой рукой обняла второго сына, десятилетнего Бору.

Время поджимало, с улицы настойчиво сигналили. Полицей сузил наглые глазки, передёрнул сухими плечами, в черепной коробке родилось движение. Сознание того, что задержку немцы не спустят, толкало к действию. Тут его взгляд упал на крышку подпола, догадка сверкнула в мозгу. Заметив, как дёрнулась Полина, резко откинул стоящую на крышке тумбочку, ухватил прохладное кольцо и рванул на себя. Тотчас шагнул в проём на ступеньку лестницы, включил на груди фонарь. В дальнем углу, прижавшись друг к другу, сидели на корточках племянник и тётка Фаина.

– Ах, вон оно что! И жидовка здесь, – крикнул дядька, щёлкнув затвором. – Ну, спасибо, сестрица. Теперь и ей будет хана! – он навёл оружие, замыслив разом покончить с обоими.

Но не успел нажать на курок, как грянул выстрел: единственная Юркина пуля нашла цель, полицей рухнул замертво. Кинувшаяся в подпол Полина нашла лежащего на полу Сергея и жавшихся друг к дружке Фаину и сына.

Тут Юрку вырвало. Вдруг резко затарабанили в дверь. Женщина тотчас выбралась наверх, захлопнула крышку подпола, вернула на место тумбочку. В комнату разгорячённый с бегающими зенками влетел помощник Сергея – здоровенный узколобый мужик, спрашивая, где брат.

– В комендатуру ... побежал, – еле выговорила она.

– Зачем, идиот?... – Физиономию амбала перекосило, на ней застыла мина досады и страха. – А Юрка?

– С ним, – вымолвила Полина и заплакала.

Бугай в чёрной форме с белой нарукавной повязкой в три шага был на улице, снег пополам с дождём слепил глаза. Чуть помешкав, тяжело дыша, он рванул к уже отходящему грузовику. Из кабины высунулся немецкий офицер с пистолетом в руке и, зло глядя на бежавшего, нажал на спусковой крючок – ударил выстрел. Полицей



с раскинутыми руками, будто ненароком споткнулся, ничком упал на мокрую землю, а машина, наддав, свернула с Базарной улицы на трассу и устремилась прочь из города...

Дождь неожиданно закончился, выглянуло первое весеннее солнце. Стихали выстрелы и звуки орудий, советские войска гнали фашистов дальше. Фаина вернулась в квартиру, Полина сидела в своей, обняв сыновей, не зная, чего ожидать. Подвал был чист, лестница отмыта, половики и дорожки стелились ровно, ничто не говорило о том, что здесь произошло.

Двор, как и раньше, был тих; мирно ворковали голуби в Юркином сарайчике, Тимофей Макарович устроился в беседке со стаканчиком винца праздновать освобождение, рядом вольно раскинулся общий любимец – кот Мехушка; женщины ушли встречать наших. На проезжей части дороги, метрах в сорока от зелёных осевших ворот дома номер четыре по Базарной улице, обнаружили два трупа в форме немецких полицейских. Их с презрением обходили...





ПОЛУМИСКОВА
Екатерина Петровна
Ставрополь

Из цикла стихотворений
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

КУКУШКА

Не сули мне, кукушка,
Бесконечную, лёгкую жизнь.
О моей деревушке
Всё, что знаешь, сейчас расскажи.

Деревушка родная
В белорусских осталась лесах,
Где закат догорает,
И деревья стоят на часах.

Куковала кукушка,
И клубился туман над рекой.
Прядь волос непослушных
Поправляла мне мама рукой.

Лес молчаньем ответил,
Только взгляд мой в тревоге застыл...
Мы ушли на рассвете
К партизанам во вражеский тыл.

Где ты, вещая птица?
Нагадай мне безоблачных дней



И ещё, сколько «фрицев»
Положу из винтовки своей.

Но поведай сначала
Ты про мирные мне времена.
Что же ты замолчала?
Значит, кончится скоро война...

РАЗГОВОР С ДРУГОМ

Снова оттепель. Тают снега.
Развезло все дороги-пути.
Но свинцовая нас разлучила пурга.
Ты прости меня, друг, ты прости.

Мы на запад идём за «бронёй».
Ну а воздух весенний такой!
Ты прости, что своею пустой болтовнёй
Нарушаю твой вечный покой.

Командир наш теперь – капитан.
Мы не сдали своей высоты.
А из третьего взвода сосед наш, Иван,
Он погиб, в тот же день, как и ты.

Раза в два поредел батальон.
Пополнение будет опять.
Перебросили нас в приграничный район,
Ждём по фронту приказ: «Наступать!»

Нет теперь нам дороги назад.
Бьёмся насмерть который уж год.
Вот загоним врага в его логово, в ад,
И вернёмся – сажать огород!

Хоть на день бы забыть о войне,
Только память завязла в снегу.
Как жене-то сказать, что тебя уже нет?
Ты прости меня, друг... Не смогу.



Отгremели последние залпы,
Значит – мир, и пора по домам.
Мирный Одер, и мирные Альпы,
Мирный Мюнхен, Берлин и Потсдам.

И затишье перед рассветом,
И летящая в небе звезда...
Разве мы позабыли об этом?
Нет. Мы помним об этом всегда –

И о том, что такое война,
И какая у мира цена!

СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ

Прорастают курганы травой.
А герои Второй мировой
С непокрытой стоят головой
Много вёсен спустя.
Им вовек не забыть этот бой,
Сталинградский рубеж роковой.
Только годы шрапнелью шальной
Над землёю летят.

Бродит призраком эхо войны,
Навсегда заточённое в сны.
В сердце боль от весны до весны
Бьёт холодным свинцом.
Всё не зря. Лишь бы только война
Не покинула те времена,
Где у Волги огнём сметена
И зажата в кольцо.

Там дымились в руинах дома,
И сходила планета с ума.
И российская наша зима
Преграждала пути.



Не забыть нам военных дорог.
Сколько б ни было новых эпох –
Никогда, не дай бог, не дай бог
Нам их снова пройти.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ноет под сердцем осколок железный,
горькую память о прошлом храня.
Семьдесят пять – по канату над бездной
к призрачным далям грядущего дня!

Слышится в этом свободном паренье
эха войны нарастающий гул.
Верит ли нынешнее поколение
тем, кто когда-то канат протянул?

Нет под ногами надёжнее тверди,
тысячи судеб связавшей в одну.
И миллионы, что преданы смерти,
спаяны душами, слиты в струну.

Криком ли, стоном, малиновым звоном
вымощен этот над пропастью путь.
Нам бы, разрозненным да разделённым,
не заблудиться и не соскользнуть!

Имя бессмертного подвига свято,
и безымянным забвения нет,
нет и прочнее на свете каната –
семьдесят пять несгораемых лет!



Вечный огонь, как на скифском кургане,
и рукояти мечей, как кресты.
Были сколóты... А нынче цыгане
царствуют здесь от Карпат до Читы.



Пламя костров, а по кругу – кибитки.
Плачет гитара, и глаз не сомкнуть.
Древних созвездий небесные слитки
Млечный в ночи обозначили Путь.

Ржавые гильзы, истлевшие латы –
хватит железа коней подковать.
И на монистах из скифского злата
звёздная пыль да столетий печать.

Карты цыганские скажут, что было,
им доверяли во все времена.
Праху отцов, как и братским могилам,
будет ещё поклоняться страна.

Краденый конь да чужая невеста,
пан иль пропал, или пуля в висок!
Ночь напролёт от Байкала до Бреста
катятся звёзды в горячий песок.



Сквозь лабиринт чёрно-белых причудливых линий
на мониторе смотрю оцифрованный фотоальбом.
Ведь посчастливилось деду дойти до Берлина,
словно до Марса, пешком!

Сколько их было, ранений, смертей и контузий?
Год Одна Тысяча Девятьсот Сорок Пять,
лентой Георгия прочно завязанный в узел –
не разорвать!

Всё ещё держат над нами их души, бесплотные птицы,
шитый зениткой, салютом залатанный тот небосвод
за обещание помнить, молиться, гордиться – потери не в счёт.

Вот и гордимся, и молимся, чтоб не пешком, но до Марса,
чтоб «Мономах» с «Долгоруким» вертели свои «булавы»,
чтобы история наша писалась без лишнего фарса,
с новой главой!



РЫБАЛКО

Сергей Николаевич

Ессентуки

ПАМЯТЬ

В семейном кругу в День Победы,
Слегка захмелев от вина,
Отец мой с задумчивым дедом
Сидит и дымит дотемна.

И глядя с грустинкою зыбкой,
И глядя рукою висок,
Он просит с печальной улыбкой:
«Сыграй фронтовую, сынок».

И я без конца, что есть мочи,
Без всяких вступлений и слов,

Играю про синий платочек,
Ничуть не жалея мехов.

А он то молчит, то вздыхает,
Весь в думах о грозной поре.
Друзей фронтовых вспоминает
И огненный шквал на Днестре.

А песня кружится, как заметь,
До слёз обжигая сердца.
И годы проходят, но память
Блестит на медалях отца.

МОЯ РОССИЯ

Когда рязанские поля
Топтал Батый своей ордою,
Когда стоял у стен Кремля
Наполеон, грозя бедою,

Когда опять на Русь, пыля,
Шли танки Гитлера с крестами,
Склонилась ты, моя земля?
Упала ниц перед врагами?

Нет! Никому в годину бед
Ты не сдалась, не покорилась,

Во славу дедовских побед
Ты новой славой озарилась!

Ты эту славу пронесла
На жерлах пушек до Берлина.
Ты мир от гибели спасла,
Как мать в беде спасает сына.

И ныне верю: Русь спасёт
Себя от кризисного шквала,
Как в годы тягот и невзгод
Она весь мир собой спасала!



В ГОРЯЧЕВОДСКОМ ГОСПИТАЛЕ

Вспоминаю: в мае было это.
Накануне праздника страны
Пригласили в госпиталь поэтов
К ветеранам памятной войны.

В тёмно-серых будничных халатах,
Без парадной формы и наград
Собрались бывалые солдаты,
Знавшие и Курск, и Сталинград.

Я тогда увидел не с экрана
Средь бойцов морщинистых, седых
Раненных в горах Афганистана
Пареньков безусых молодых.

И когда в притихшем клубном зале
Прочитал стихи я про отца,
Я заметил: слёзы задрожали
На глазах у юного бойца...

Сердце билось резко, учащённо.
Я стоял под взглядом стольких глаз.
А в сторонке, с палочкой, смущённый,
Хлопал мне отец в последний раз.

НАШИМ ДЕДАМ И ОТЦАМ

Молодости нашей не досталось,
Что на долю выпало отцов.
Шли они сквозь пули и усталость,
Глядя смерти огненной в лицо.

На плечах солдатских выносили
Боль утрат и груз тяжёлых лет.



Сколько их, что головы сложили?!
Сколько их, что с нами больше нет?!

Это знают лишь степные дали,
Где прошёл их грозный трудный путь,
Шрамы от осколков да медали,
Гордо украшающие грудь.

Белые прямые обелиски –
Память не вернувшихся с войны.
В День Победы кланяюсь вам низко,
Вам, седым защитникам страны.

Вам, живым и павшим, что стояли
Насмерть за Москву и Сталинград,
Что Победу нашу добывали,
Испытав войны кромешный ад.

Сколько бед и горестей досталось
Нашим славным дедам и отцам!
Пусть же будет их спокойной старость,
А их жизнь примером станет нам!

НЕ ЗАБЫТЬ МАТЕРЯМ

Кто на танке погиб под Одессой в бою,
Кто сгорел, Сталинград защищая,
Не обняв свою мать, не увидев семью,
Не дожив до победного мая.

Сколько их полегло, наших храбрых солдат,
На священных просторах России!



Где, навеки застыв, обелиски стоят
И берёзки шумят молодые.

Каждый год зацветают сады по весне.
Листья в солнце купаются вешнем.
Но о тех, кто погиб на минувшей войне,
Не забыть матерям поседевшим.

ИЗ РУИН ПОДНИМАЛАСЬ РОССИЯ

Камыши, да за речкою хаты.
Крик гусей. Белый пух на воде.
Помню я, как мы мчались когда-то
Запылённых купать лошадей.

У моста, где склоняются ивы,
Дончаков мы поили гнедых.
Помню, как у речного обрыва
Отыскивали заржавленный штык.

Каждой найденной гильзой, патроном
В наши души врывалась война.
Вдовьей болью былых похоронок
О себе заявляла она.

Костылями по сердцу стучала,
Укоряла убожеством хат.
И надрывной гармошкой звучала
В толчее, где махорка и чад...

Нас не метили пули шальные.
Но мы знаем, какую ценой
Из руин поднималась Россия,
Опалённая страшной войной.



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Как эхо памятной войны
Под небом майским синим
Идёт Бессмертный полк страны
По городам России.

Несут портреты сыновья
И внуки славных дедов –
Тех, кто с врагом добыл в боях
Великую Победу.

Кто пережил в лихой войне
Все беды и невзгоды,
Кто жизнью собственной своей
Мир отстоял, свободу!

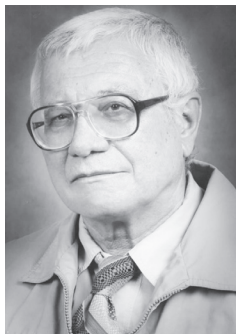
И сердце радостью цветёт,
Что в юных поколениях
Своих героев чтит народ,
Держа на них равненье!

ВETERАНЫ

Стираются в памяти лица и даты.
Снежком порошит на виски седина.
Стареют отцы – фронтовые солдаты,
Но подвиг их вечен, на все времена.

Приходят они к обелискам гранитным
С цветами в руках и с печалью своей.
Подолгу, задумавшись, смотрят на плиты
И видят не плиты, а павших друзей.





САХВАДЗЕ
Николай Николаевич
Изобильненский район
посёлок Солнечнодольск

ЛАНДЫШИ

*Моему отцу Николаю Иосифовичу,
стрелку-радисту в 1944-1945 гг., посвящая*

В шесть часов вечера я сидел в Комсомольском парке на длинной, выкрашенной в голубой цвет скамейке.

Если вы бывали в Моздоке, то, безусловно, знакомы с этим уютным укромным местом, где по вечерам пенсионеры и подростки собираются празднично поболтать в своих компаниях или посмотреть сообща фильм в летнем кинотеатре. Зрительный сезон ежегодно открывают на Пасху и первый фильм всегда показывают бесплатно. Думаю, это связано с антирелигиозной пропагандой. Но служба в Успенско-Никольской церкви продолжается всю ночь, и ребята успевают после фильма вволю полюбоваться торжественным церковным обрядом под строгим неусыпным надзором принаряженных старушек, которые шипят сквозь поджатые губы: «Шли бы лучше в свой парк, антихристы!»

По словам моей матери, парк посажен за два-три года до начала войны, в конце тридцатых. Мать училась в то время в Моздокском педучилище, и они с подружкой Любой Кондратенко и другими студентами рыли в тот памятный для молодёжи субботник глубокие ямки и сажали в них гибкие саженцы.

Наверное, мало кто из тех людей жив сейчас, а парк остался.

Давно окрепли и вымахали тополя, дубы, клёны. По вечерам, когда с Терека по узкой горловине Пушкинской улицы струится свежий холодный воздух, начинает негромко вдыхать и перешёпты-



ваться листва высоких деревьев, словно приглашая вас посидеть в тени.

Я ждал Симу Борцову.

В шарообразных, отяжелевших от молодой поросли кустах стайка воробьёв деловито расклёвывала огрызок яблока. Время от времени воробьи, попискивая, переругивались, не обошлось и без драки.

Сима работает у нас на ремзаводе в отделе кадров. Спокойная, темноволосая, кареглазая, привлекает внимание не столько красотой, сколько выражением приязни, доброжелательства на ласковом круглом лице. В то же время есть в ней что-то надёжное и недоступное, как у античной статуи. Человек, которого она выберет, никогда не пожелает лучшей подруги. Впрочем, это сугубо личное мнение.

Скамейка стояла наискосок от узкого постамента. Я сидел и смотрел на суровый сосредоточенный профиль Любы Кондратенко (1922–1943). Эта большеголовая, коротко остриженная девушка в ловко сидящей пилотке добровольно ушла на фронт. Стала стрелком-радистом 90-го гвардейского стрелкового полка 2-й воздушной армии.

Видимо, она была умелым и результативным стрелком, иначе за что бы ещё 1 октября 1943 г. её наградили орденом Красной Звезды.

А 7 Ноября, в праздничное воскресенье, Люба вместе с младшим лейтенантом Степаном Виноградовым ушла в свой последний 48-й вылет.

Они сбросили бомбы на немецкую танковую колонну, легли на обратный курс. Но тут из-за гряды облаков вынырнули три вражеских истребителя и, стремительно приближаясь, пошли наперерез.

В завязавшемся бою Люба длинной очередью из пулемёта сбила один самолёт противника. Но и наш Ил-2 потерял винт, зарылся носом и вошёл в смертельное пике. Он глубоко врезался в землю.

Двенадцать лет спустя на месте падения Ила обнаружили останки героев, их вещи, оружие, партбилет Виноградова и комсомольский билет 3 10287824, выданный Моздокским райкомом комсомола 31 июля 1939 г. на имя Любови Андриановны Кондратенко. Останки воинов захоронили на центральной площади г. Васильково Киевской области.

А через двадцать лет в 1958 г. Люба в виде изваяния вернулась в уютный Комсомольский парк, насаженный некогда ею. Вернулась теперь уже навсегда.



Я вдруг подумал, что, хотя и родился через пять лет после окончания Великой Отечественной войны, а всё равно с самого раннего детства, едва начав сознавать себя, наталкивался на её приметы. С таким остервенением прошла она по земле Северного Кавказа.

Пегий приبلудившийся пёс Рябчик ел из непривычной глазу немецкой каски. Бабушка вечерами доила Зорьку при свете фитиля, заправленного в гильзу артиллерийского снаряда. Мы с друзьями ходили играть в вырубленный в войну городской лес, поросший новыми деревьями и кустиками; едва приметные тропки выводили к взорванному мосту через Терек. А на том, правом, более высоком берегу и по сию пору стоят прочные низкие бетонные доты, чьи защитники до конца прикрывали отход наших войск.

Гитлер в неуёмном безумном желании покорить мир мечтал дойти до Индии.

Небольшое осетинское селение Майрамадаг стало самой южной точкой на глобусе, до которой продвинулись войска вермахта. Отсюда началось их возвращение, их мрачная дорога домой – и труд войны перестал приносить им радость...

Внимание моё внезапно привлекла белобрысая девочка с алым галстуком, в коричневом платье и чёрном фартуке. Она медленно, будто прислушиваясь к пению невидимой птицы, шла из Второй школы. В одной руке у неё был пухлый портфель с самодельной верёвочной ручкой, в другой – букетик ландышей. Очевидно, несколько отчаянных пацанов сбежали с уроков в поход за ландышами, и один из них с непонятной самому себе робостью сунул только что свой букетик в девчоночьи руки, стараясь, чтобы не заметили товарищи.

Девочка дошла до высокого чёрного постамента, на котором стоял бюст лётчицы, и остановилась. Нерешительно, переминаясь с ноги на ногу, посмотрела вокруг и положила ландыши рядом с большим бумажным венком. Венки принесли сюда 9 Мая, и он поблек от недавнего дождя.

Поступок девочки удивил меня. Ведь я только что придумал проникновенную лирическую историю, и в её свете мне показалось, что героиня слишком просто рассталась с подарком отважного и стеснительного рыцаря. Но на сердце стало легко, печально и в то же время радостно.

У девочки были ярко-зелёные на бледном веснушчатом лице глаза. Она с вызовом посмотрела на меня и ушла. А я сидел на длинной голубой скамейке, смотрел на ландыши и чувствовал в себе так



много тепла и любви ко всему, что окружало меня, что хотелось разделить это чувство с другими.

Потом пришла Сима. Я увидел её ещё издали, и во мне совершенно непроизвольно зазвучали страстные сумасшедшие стихи Велимира Хлебникова. Впервые они попались мне на глаза в армии и забылись потом, но, когда я познакомился с Симой, вспомнились и, скорее всего, навсегда.

Она одуванчиком тела
Летит к одуванчику мира,
И сказка великая пела –
Глаза человека – секира.

И в сказку вечернего неба
Летели девичьи глаза,
И волосы тёмного хлеба
Волнуются, льются назад.

Я поднялся и шагнул навстречу. Она поздоровалась и оглянулась вокруг, чтобы по мимолётному взгляду случайного прохожего с безобидным женским тщеславием убедиться: мы с ней совсем не плохая пара, и заметила ландыши.

– Какой хорошенький, – сказала она. – Какой хорошенький букетик. Я возьму его.

– Не надо, – попросил я. – Пусть лежит.

Мы прошли квартал по улице Свердлова и вышли на Главную. Сегодня была пятница, и тут прохаживалось немало гуляющих. Моздокчане с их врождённой тягой к базару, ярмаркам, толчее любят улицу Кирова так же сильно, как одесситы – Дерибасовскую, а москвичи – Арбат.

Я рассказал Симе о девочке, и у Симы тоже поднялось настроение.

Это был замечательный вечер, и то, что причина нашего настроения была так незначительна, радовало меня больше всего.

Когда спросил последнего и встал в очередь за билетами в кино, то пришёл к выводу, что какой-нибудь парень обязательно возьмёт этот букетик и подарит любимой девушке. Но это не расстроило меня. Я увидел тут странную связь погибшей лётчицы с сегодняшней жизнью: Комсомольский парк, девочка-школьница, ландыши, Люба Кондратенко, ландыши, парень и девушка.

Вы понимаете меня?

И потом, даже время спустя, когда я вспоминал этот случай, я вспоминал о нём с щемящей нежностью, с любовью, с благодарностью к белобрысой девчонке.



СРИБНЫЙ
Игорь Леонидович
Минеральные Воды

ВАЛЕНКИ

Сталин выбил табачный пепел из трубки в тяжёлую хрустальную пепельницу и наконец поднял взгляд на Ворошилова.

Ворошилов стоял навытяжку, обливаясь холодным потом – Хозяин не предложил ему сесть...

– Товарищ маршал, можете вы объяснить мне, почему войска Ленинградского военного округа позволяют избивать себя противнику, который не имеет даже половины имеющегося у вас военного потенциала?

– Товарищ Сталин, – Ворошилов прокашлялся, – единственный участок фронта, на котором возможно наступление Красной Армии вглубь Финляндии, – это Карельский перешеек. Но здесь финнами возведена мощная оборонительная линия с двумя опорными пунктами: Койвисто – на западе и вдоль реки Вуокса – на востоке до впадения её в Ладогу. А это 75 бетонных фортов старой постройки и 44 современных железобетонных бункера. На линии нам противостоит карельская армия под командованием генерал-лейтенанта Эстермана. На востоке от неё стоит 3-й армейский корпус финнов под командованием генерал-лейтенанта Хейнрикса. На северо-западе – 4-й армейский корпус генерал-майора Хеглунда.

На перешеек наступает 7-я армия под командованием Мерецкова, в которую входят 12 дивизий, три танковые бригады и танковый корпус.

Наши войска, товарищ Сталин, на направлении главного удара дошли до линии Маннергейма и были остановлены шквальным огнём фортов. Первые три дня позиционных боёв показали, что



перешеек укреплен значительно сильнее, чем докладывала наша разведка.

Кроме того, местность труднопроходима: скалы, вековой лес, многочисленные озёра и болота. Всё это опутано проволочными заграждениями от шести до десяти рядов и оборудованными минными полями...

– И что, эти форты нельзя разрушить артиллерией или бомбовыми ударами? – Сталин прошёл к окну и принялся набивать трубку.

– Мы били по ним прямой наводкой с расстояния 400-500 метров. Безрезультатно. Бомбы тоже только раскидывают землю, под которой замаскированы ДОТы, не причиняя им вреда...

– Но почему вы говорите об этом только сейчас? – глухой голос Сталина больно бил по нервам, натянутым струной. – Почему все эти факторы не были учтены вами при подготовке приказа о наступлении? Разве нет в Красной Армии разведки, которая должна была своевременно доложить о глубине и мощи финских укреплений?

– Это наши недоработки, товарищ Сталин...

– Вы называете это недоработками? – тяжёлый взгляд Сталина, казалось, насквозь прожёл маршала. – Какие потери в живой силе понесла Красная Армия во время наступления из-за этих ваших недоработок? Сколько раненых? Какое количество полевых госпиталей развернуто в боевых порядках наступающих войск?

– Товарищ Сталин! – голос Ворошилова задрожал. – Точных данных на сегодняшний день у меня нет. Они собираются в штабах...

– Вам сложно вести учёт потерь в живой силе? – перебил его Сталин. – Тогда доложите мне потери в технике!

– Мы потеряли около тысячи танков и около шестисот самолётов за время наступления, товарищ Сталин.

– Людские потери с начала кампании? – Сталин встал напротив маршала, сверля его взглядом.

– С начала кампании мы потеряли около трёхсот тысяч человек...

– Товарищ маршал Советского Союза! – голос Сталина не предвещал ничего доброго. – В таких вопросах, как потери личного состава не может быть слова «около»! Победа или поражение в войне иногда зависит от одного солдата, который будет использован в нужное время в нужном месте!



Он подошёл к столу и нажал кнопку вызова секретаря.

В кабинет вошёл Поскрёбышев.

– Пригласите конвой! – сказал ему Сталин.

– Товарищ Сталин! – голос Ворошилова предательски задрожал. – Я прошу дать мне возможность исправить положение...

– Каким образом ты хочешь это сделать? Заморозить в снегах ещё триста тысяч бойцов Красной Армии? Отдать противнику ещё тысячу танков и шестьсот самолётов? Тебя мало расстрелять за твои «недоработки», Климент! Докладывай!

– Я прошу разрешения временно прекратить наступление, очистить наши тылы от разведгрупп противника, выровнять линию фронта и применить тяжёлую артиллерию и бомбардировщики против линии Маннергейма!

Сталин тяжёлым взглядом исподлобья пронзил Ворошилова.

– А разве до этого разговора ты не применял тяжёлую артиллерию и бомбы? Разве ты не знаешь, что невозможно пробить рядами фортификационные сооружения укрепленного района с толщиной железобетонных перекрытий более двух метров? И почему ты сам не сделал то, что предлагаешь, до сих пор? Почему не пришёл ко мне с этими предложениями раньше?

– Мы будем бить по ним до тех пор, пока не разобьём эти проклятые ДОТы!

Сталин с сомнением покачал головой.

– Товарищ маршал Советского Союза! Ответьте мне, сколько пар валенок поступило в воинские части, ведущие наступление на Карельском перешейке?

– Товарищ Сталин! – Ворошилов был готов упасть на колени перед Хозяином. – Я народный комиссар обороны, а не армейский интендант! Я не могу знать, сколько пар валенок отправлено в войска!

– Я назначаю тебя командиром взвода 7-й армии и отправляю на главное направление, которое ты добросовестно просрал вместе с твоим командармом Мерецковым. И если узнаю, что ты хоть на пять минут надел вместо твоих щегольских сапог валенки, ты будешь расстрелян на месте!

– Я готов, товарищ Сталин!

– Ты готов, Климент?! – Сталин уничтожающе посмотрел прямо в испуганные глаза маршала. – Тогда подойди к столу иними салфетку с тарелки!



Ворошилов на дрожащих ногах подошёл к столу для совещаний и приподнял салфетку на белой, как снег, тарелке... И отшатнулся...

– Это, товарищ маршал, – голос Сталина зазвенел сталью, – от мороженные пальцы с ноги простого солдата, который честно выполнял свой долг перед Родиной. Он лишился пальцев не в бою, понимаешь, ты, маршал?! Он лишился пальцев лишь потому, что ты не подумал о том, чтобы обеспечить наступающую в снегах армию валенками!

Сталин вдруг успокоился... И отпустил конвой.

Ворошилов мысленно перекрестился трижды...

– Понимаешь, Клим, я бы тебя простил... Понял бы и простил, если бы у нас не было этих валенок! Но когда ротные каптёрки забиты валенками, и мошь со всей Европы слетается, чтобы пожрать, на наши армейские склады, в то время как солдаты Красной Армии отмораживают ноги?! Бери пальцы, маршал, не стесняйся! Это твоя заслуга! Это по твоей вине тысячи солдат придут с финской войны инвалидами! И вместо того, чтобы работать на заводах и фабриках, делая нашу страну сильной и непобедимой, ты эти тысячи инвалидов повесишь на шею стране!

Сталин шагнул к столу и, завернув пальцы в салфетку, сунул их в карман френча остолбеневшего Ворошилова.

– Самолёт у тебя через час, Климент! И если вдруг армия погибнет в снегах, а ты останешься живой, ...ь, лучше застрелись сразу! Иди!

Ворошилов развернулся чётко через левое плечо и на деревянных ногах пошёл к двери.

– Стой! – сказал вдруг тихо Сталин.

Ворошилов встал, втянув голову в плечи.

– Не вздумай там, на фронте, снять сапоги и надеть валенки... Узнаю, прикажу ампутировать тебе все пальцы по живому!





СУХОРУКОВА
(ЛАНГУЕВА)
Тамара Васильевна
Невинномысск



Родной земли скорбящее лицо,
от слёз – в морщинах,
в ранах – от окопов,
во снах вставало в памяти бойцов
в тревожных весях Западной Европы...

Но после вспоминался мирный дом.
Простор небес...

Берёзы за калиткой,
и по реке скользящий вниз паром,
и голос мамы, шепчущей молитву.

... Давно уже спасался бегством враг.
И всюду люди хоронили воинов,
не переживших огненных атак,
но вечной славы истинно достойных...

И бабы ждали писем фронтовых
За много дней до праведной Победы,
как с верой ждали восходов полевых,
чтоб вдоволь накормить Отчизну хлебом.



Суeta военного вокзала.
Поезда в дыму и чёрный снег...
Мать на фронт сыночка провожала.
Плакала... Вернётся или нет?

Повзрослевший сын глядел
чуть с грустью:
Ничего, мол, встретимся ещё,
Троекратно целовал, по-русски,
Ощущая влажность женских щёк...

Вещмешок болтался за плечами,
Словно запасной впрямь парашют,
Будет плакать сын в него ночами,
Вспоминая маму, дом... уют.

... Грянул бой, за ним –
второй и третий...
Что и говорить, вокруг – война!..
Понял сын тогда: на белом свете
Всех роднее Мама... и Страна!

ВДОВА

Пальто из драпа, ботики резиновые,
на голове – застиранная шаль,
которую за слоников ты выменяла,
и знали все – не стоит ни гроша...

Ты модной быть хотела, одеваться,
как те, другие, живы чьи мужья –
не воровать,
не предавать,
не побираться,
а верить в то, что будешь ты нужна



единственному,
близкому,
родному,
добрейшему из тысячи мужчин...
О радуйтесь, когда мужчина дома,
когда для вас на свете он – один!

... Грузила ночью на заводе ты снаряды,
и от работы ныла вся спина...
Вдруг показалось,
будто муж встал рядом:
его рубашка впрямь была видна...

И сразу стало легче,
оттого ли,
что для тебя он жив был до сих пор,
и ты не ощутила сильной боли,
лишь слёзы затуманили твой взор...

Война прошла, грозой прошумела...
Ты вдовью долю приняла тогда,
но не спилась,
не струсила
– сумела
всё пережить... и победить смогла.



Всходили зори, как знамёна, красные,
Туман багровый корчился вдали...
На той войне бои гремели страшные,
Пожарищ реки по земле текли.

На той войне горели избы заживо,
Вскипала кровь на образах святых...
Молчал Господь, а сатана расхаживал
У самой смертной призрачной черты...



Весь в чёрном был он, злобой искорежен,
Мечтал тайком черту преодолеть
И вынуть меч из ржавой пасти ножен –
И ну, метать, чтоб свой оставить след...

Но знал Господь все козни те заранее –
Не дал он Жизнь под корень истребить –
И поднимал из тлена сотни раненых,
И возглашал во мрак: «Сим чадам жить!»



Знакомый голос патефона
Из детства дальнего возник...
Он до поры магнитофонной
Был утешением в те дни.
В наш дом врывались звуки вальса
И будоражили меня.
На цыпочках приподнимаясь,
По комнатам кружила я.
На мне надет был мамин джемпер,
Хоть он свисал до пят тогда,
Но всё ж не сдерживал движений...
И я крутилась без труда,
Как будто фея из балета –
Самозабвенно и легко!..
О, если б Штраус видел это,
То помахал бы мне рукой.
... И мне казалось, мне казалось,
Со мной кружилась вся страна,
Что от руин освобождалась,
От слов «тревога» и «война».





ТРИЛИСОВ
Анатолий Иванович
Пятигорск

ХЛЕБ МИРА

В голодный год,
Послевоенный,
Из магазина спозаранку
Домой
Я хлеба нёс буханку.
За мною вслед –
Два немца пленных...

У нашей
Старенькой калитки,
Едва держась,
На костылях,
Стоял контуженный отец,
В солдатских сапогах,
В накидке,
Прошитой
Пулями в боях...
Спросил:
– Принёс?
– Вот...
– Молодец!

С тоскою он глядел
На фрицев,
На измождённые
Их лица...
И, всю костлявость
Изучив,
Буханку хлеба
Им вручил.
Но тощий немец,
Что постарше,
Буханку
На четыре части
Немедля
Тут же разделил.

Мы ели хлеб –
Спасенье наше.
И каждый был
Безмерно счастлив,
Что мир
Желанный
Наступил!



ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ШОЛОХОВА

Быль

В полях ни звука. И ни шороха.
Машина у дороги... Шолохов.
В глазах его печаль. Внимательно
Глядел он, как на виноградниках
Весенним утром немцы пленные,
Худые, сгорбленные, бледные,
Повинность горькую несли.

С их лиц катились пота градины.
Шёл лёгкий пар и от земли.
Лоза, вот-вот, была готовая зазеленеть.
А солнца яростная медь
Могла б, казалось, зазвенеть...

И самый яркий, собирательный
Готов был образ у писателя...
Пред ним поплыли вдруг круги...
И голос (может, померещилось?)
Услышал он погибшей матери...
Запала в душу просьба вещая:
«Сумей, сыночек, превозмочь себя,
И, пленных немцев возлюбя,
Найди возможность им помочь...»

У винодела, друга давнего,
Из института виноградарства,
С кем ехал он в Новочеркасск,
Спросил писатель: «Нет ли славного
Винца донского, с добрым градусом,
В запасе где-нибудь у вас?»

Всё, что к добру, всегда сбывается.
– А сколько надо, Александрович?



– С ведро, не меньше, Митрофанович!
– Вы, право, любите шутить...
– Смотрите, немцы как стараются!
Винцом бы пленных угостить...

«Науки ненависти» автор,
Уже не звал к борьбе с врагом...
А винодел, влеком азартом,
Бочонок нёс почти бегом.
Вот пожилой уставший пленный
Сказал, причмокнув откровенно:
«Такого я не пил вина
С тех пор, как началась война!..»

И вдруг слезу смахнул невольно –
Он думал о родной сторонке...
А винодел ещё налил,
Потом ещё...
И аромат напитка тонкий
Приятно пленников бодрил.
И, кажется, прибавил сил.
И разрумянил бледность щёк –

Они работали проворней.
Когда же пленные узнали,
Что это Шолохов велел
Их угостить донским вином,
Они ему рукоплескали.
И говорили лишь о нём.
И слышалось со всех сторон:
– Прост...
– И велик...
– Как «Тихий Дон»...





ХАЛИМОНОВА-МЕЛЬНИК
Алла Владимировна
Ставрополь

ВСЁ ЭТО БЫЛО

Всё это было, и факты скупые важны:
Поработив без усилий народы Европы,
Орды фашистов топтали дороги и тропы
По направлению к сердцу советской страны.

Всё это было в истории русской не раз,
Только всегда наши предки на битву вставали
За бесконечно родные российские дали,
В бой за Москву, за Поволжье, за Крым и Кавказ.

И побеждали на сотнях военных дорог.
Памятью светятся их имена дорогие.
Правда всегда была с нами, и был с нами Бог,
Он и сейчас не оставит великой России!

ВETERAНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Я восхищаюсь вашим поколением,
Его геройством, силою большой,
Каким-то удивительным стремленьем
По правде жить и не кривить душой.



Его неистощимым оптимизмом
И страстью к одолению преград,
Его величием и патриотизмом
И скромностью,
что выше всех наград.

Вы пережили много испытаний
И выстояли в страшную войну.
Не ожидая славы и признаний,
Вы из разрухи подняли страну.

И в День Победы,
в праздник всенародный,
Когда гремят салюты над Москвой,
Я верю: будет Родина свободной
И будет помнить подвиг боевой.

ПОБЕДА

Война завершилась на Светлой седмице.
Воистину, братья, Воскресе Христос!
Под шелест дождя и под стуки колёс
«Победа!» – звучало в весенней столице.

«Победа!» – гремело в местечке любом,
На каждой дороге и в каждом селенье,
И помнит военной поры поколение
Салюта победного радостный гром

И освобожденье от плена тревог
За близких и милых, за землю родную.
И солнце смотрело, как люди ликуют,
Как едут солдаты с военных дорог.



ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В День Победы на сердце светлее
От улыбок и ярких цветов.
Ветераны идут по аллее,
И обнять ты любого готов.

День Победы великой России
Вспоминает минувшие дни:
И бомбёжки, и пули шальные,
И салютов победных огни.

Вспоминает былые утраты,
Собирает друзей фронтовых,
А на смену приходят солдаты
Вновь стоять на постах боевых.

Нам сдаваться врагу не пристало.
Молим: «Боже, Россию храни!»,
Чтоб весеннее солнце сияло,
Как в победные майские дни.





ХМЕЛЁВА
Надежда Владимировна
Будённовск

ИВЫ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Три ивы российских, печальницы,
В минуты святой тишины
Стоят и безмолвно печалятся
О жертвах Священной войны...

Скорбят, как жена, мать, сестрица.
Промокли их косы от слёз.
Их высушить ветер стремится,
Пропитанный запахом роз.

Он гладит зелёные пряди,
Сочувствия шепчет слова:
«Погибли они жизни ради,
Победы цена такова...»

И Вечный огонь, как лампада,
Сжигает унынье с тоской.
Три ивушки – женщины рядом
Стоят, охраняя покой
Мужей, сыновей, старших братьев
От шума мирской суеты.
Их вовсе немодные платья
От пролитых слёз так чисты,
Что жемчугом кажутся росы
Их слёз о всех жертвах войны .



Седые от холода косы
К победной весне зелены,
Чтоб мы не теряли надежду,
Что жертвы все были не зря.
И мирною будет, как прежде,
Победного мая заря.

Три ивы – жена, мать, сестрица,
Восславив Победу весны,
О том не устанут молиться,
Чтоб не было больше войны!

ПРИЗНАНИЕ МОЕЙ МАМЫ

– Солдатам легче на войне,
Чем нам в тылу с детьми! –
Так говорила мама мне. –
С оружием они
Громят врага, крича «ура!»,
А разбомблённый тыл,
Где голодает детвора,
Очаг давно остыл,
Ждёт непомерного труда,
Неженского, увы!
А главная еда – вода
С лепёшкой из травы!
Невыносимо слышать плач
Детей, что голодны!
Да, голод – истинный палач
Для всех детей войны,
Для матерей, сестёр и жён,
Спасаящих детей...
Но чтили совести закон:
На фронт плохих вестей
Не сообщать! Терпеть, пока
Война ещё идёт!



Солдат, с оружием в руках,
Врага нещадно бьёт
За мать, детей и за жену,
Которым нелегко
Победу ждать и ту весну,
Что, явно, далеко...

Восславим подвиг матерей,
Солдатских жён, сестёр –
Они спасли детей
Всему наперекор!

РАДИ ПОБЕДЫ

Это отцы наши, дяди и деды,
Бабушки, мамы ковали Победу!
Всё отдавали ради неё:
Жизнь и здоровье своё.

Кто в рукопашной, кто в самолёте,
В танке горящем, на тяжкой работе,
Кто в партизанах, а кто и в плену,
Бились, спасая страну.

Сеяли хлеб для Победы и жали,
И у станков оборону держали,
Ночью вязали, шили, пекли,
Не вытирая слёз, что текли,

Чтобы остались живыми мы с вами,
Чтоб для фашистов не стали рабами,
Жизнь не жалели отцы наши, деды,
Матери, бабушки... Ради Победы!





ХОДУНКОВ
Константин Дмитриевич
Ставрополь

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

До боли родное желанное слово
Повсюду в тот день наполняло эфир.
«Победа!» – мы слышали снова и снова,
Победа! Победа! А значит и мир.

Победа пришла к нам весной в сорок пятом,
Когда алым маком сады зацвели,
За эту Победу герои-солдаты
С боями от Волги до Эльбы прошли.

Взвивались знамёна, и марши звучали,
Земля колыхалась живой бирюзой,
И в это же время солдатки рыдали,
Великую боль заливая слезой.

Несчастные матери, дети и жёны
В тот солнечный праздник для нашей страны
Рыдали о тех двадцати миллионах,
Которых никто не дожждётся с войны.

О тех, кто остался навеки в окопах,
Кто телом своим пулемёт закрывал,
Кто в море огня направлял самолёты,
В пучине тонул и под танком сгорал.



О тех, кто уже не осветит улыбкой
Сиротские лица и угол родной.
Хоть многим казалось, что это ошибка,
Что их долгожданный вернётся домой.

В тот день всё светилось, искрилось, горело.
Как вешний поток, волновался народ.
Всё разом плясало, рыдало и пело,
Отвлекись на миг от тяжёлых забот.

Что в сердце держалось, что долго копилось,
Тревожило душу, сушило глаза,
Всё вырывалось разом, раскрылось, открылось
И болью молитвы несло в небеса.

Вот так мы когда-то встречали Победу,
Что кровью и потом добыли для нас
Отцы наши, старшие братья и деды,
И жаль, что не все это помнят сейчас.

В ПАМЯТЬ О КОНВЕРТЕ

Уходят годы, и дела бывлые
Незримо тают в суете мирской.
А с ними треугольники святые,
Что помогали выстоять России.
Бледнеют, тают в памяти людской.

Те, что, как птицы, по стране летали,
На фронт и с фронта весточки несли,
Солдату душу, сердце согревали,
В беде и страхе выжить помогли.

О, как их ждали! Как их всюду ждали!
Во всех концах израненной земли,
Как их не раз, не два, не три читали
И как ростки надежды берегли.



Нет слов, чтоб передать, как люди ждали
Четыре долгих года напролёт,
И днём и ночью ждали, ждали, ждали,
Когда в их двери почтальон войдёт.

Не передать, как матери и жёны
Четыре долгих года напролёт
И ждали почтальона и боялись,
А вдруг он похоронку принесёт.

Уходят годы, и дела бывшие
Незримо тают в суете мирской,
А с ними треугольники святые,
Что помогали выстоять России,
Увы, бледнеют в памяти людской.





ШЕВЧЕНКО
Галина Александровна
Пятигорск

«ЕСТЬ СВЯЗЬ!»

*Памяти участника форсирования Вислы
Чекалова Василия Алексеевича*

Бесшумно вёсла раздвигают воду.
Под грохот боя и снарядный визг
С грузилами свинца трофейный провод
Рывками стравливает вымокший связист.

С губ пересохших слизывает брызги,
От страха двухэтажно матерясь.
– Ну что хорошего я видел в этой жизни?..
А жить хотелось! Плыл он, помолясь.

О сушу торкнувшись, остановился.
За мысом автоматчики палят...
Он понял, что доплыл... И аппарат
Целёхоньким, родимый, сохранился!

На взводе автомат... С катушкой - к яру.
Хоть собственные силы на нуле,
Телефонист находит комиссара:
«Связь есть... Приём... Приём... Алле...»

«Второй у аппарата... Говорите...»
Сквозь всплеск очередей и взрывы бомб
Мембрана дребезжащая взалёб:
«Штрафная закрепилась... Подсобите...»



Потери велики и раненых не счесть...
Таким числом не удержаться здесь...
Майор просил нас артогнём прикрыть!
Ускорьте переправку главных сил...»

Плацдарм живёт своей особой жизнью.
И не последний в ней – ответственный за связь.
Под носом у врага – сержант с харизмой,
Распятый под огнём и вмятый в грязь.

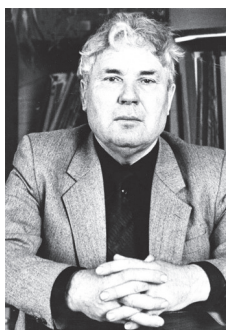
Досталось всем от Волги до Берлина...
Им постоянно снится эта ночь,
От крови бурая осока с мокрой тиной
И в пене взбитой мертвецы... Невмочь!

СТРАНА РОДИМАЯ, ЖИВИ!

Одна Победа в ратном деле!
Её ковал артиллерист
Наводкой точною по цели;
Шофёр в промасленной шинели,
Хирург, связист, геодезист;
Зенитчик, небо расчищавший;
Сапёр, державший в пальцах смерть;
Студент, в пехоте воевавший;
Спецкор, под пулями писавший,
Спешивший словом обогреть.

Не разделить сердца границей –
Сердца живых однополчан,
Как не забыть погибших лица
В посёлках, стойбищах, станицах,
По кишлакам, средь аульчан...

Простые парни-исполины
Единой силою любви
Вернули мир горам, долинам.
Стране с характером былинным
Сказали радостно: «Живи!»



ШЕЛУХИН

Тимофей Семёнович

*Изобильненский район
станция Баклановская*

«ПАДАЛИЦА»

Отрывок из повести

В начале лета на хуторе было много происшествий, однажды в обеденную пору, когда стадо появилось на своём стойле возле пруда, бык Гулый напал на объездчика Шалая и здорово его изувечил.

Пострадавшего отправили в больницу, а быка сграбастали пастихи и, заковав в цепи, отправили на бойню. Хуторяне проклинали Гулого, но заодно винили и Шалая за то, что тот накануне недозволенным способом обошёлся с животным – на короткой привязи оставив быка, испорол его до крови бичом. Запомнил Гулый объездчика и выбрал момент, чтобы свершить над ним страшную месть.

Едва стали забывать тяжкую историю с Шалаем, как объявилась другая напасть: Гришка Ивантеев вернулся из армии раньше срока, тронутый умом – где-то на границе перелякался* вражеского лазутчика. Теперь он шастал по хутору с выструганным из карагача ружьём. А на днях бригадный кормач Митроха, гнавший со степи табун, обнаружил в молодой пшенице двухголового волка, на обеих головах которого торчали наостреннные, какими и бывают у степного зверя, уши. Здорово оробел Митроха. А вскоре чудовищного волка увидел перед зарей на Авилкиной балке бригадир – дядька Иван Кулик. На хуторе поднялся переполох, всякий боялся с сумерками выйти за околицу.

Случались тем временем и другие происшествия. Перед самым Петровым днём перелякался черной бодливой коровы мой однолеток и близкий мне товарищ Лёнька Журавкин, и его целую неделю водили на наговоры к бабке Вожжихе. Однако появление двухголового волка было для хуторян самым потрясающим событием. Хуторяне, особенно пожилые, связывали его появление с какими-



то предстоящими горестями. По их убеждению, то была нехорошая примета. И что, наверное, в скором быть то ли неслыханной хворобе то ли голоду, а то и всемирной войне. В своих суждениях иные тут же ссылались на Священное писание, которого ни мы, мальчишки, ни бригадный кормач Митроха, разумеющий в политике, и никто другой, кого бы мы ни спрашивали, не видели и не читали.

Но предположениям о том, что быть вскоре новому большому людскому мору, в хуторе далеко не все верили. И мы с Лёнькой относились к слухам с определённым предубеждением. Ведь недаром мы были пионерами, а пионеры обязаны ни во что не верить. К тому же после проклятой лихорадки, которая здорово перетрепала хутор и которую, наконец, излечили способом уничтожения её переносчика – малярийного комара, болезням, считай, как говаривал дед Гаврила, «карантир» поставили. И голоду откуда взяться, ежели из года в год пошли несвозные урожаи. Если от избытка за границу начали вывозить хлеб. За один только день сколько проходит тяжеловесных составов по железной дороге, что в километре от хутора, гружённых отборным зерном, и все – в дружественную нам теперь великую Германию. И войне откуда быть, если окружавшие нас страны поутихомирились. Те же польские паны и японские самураи. Те же белофинны. Вот даже неукротимая Германия – и та с нами пакт о непадении заключила.

И всё же хуторяне чуяли недоброе. Всё могло произойти. И та же болезнь появиться, и тот же лютый голод. И война могла начаться. В газетах публиковались сообщения ТАСС о нарушениях нашей границы самолётами Германии. Участились случаи проникновения лазутчиков на советскую территорию. Тот же Гришка Ивантеев твердит своё: «Глядите, немец к нашему хутору подбирается!» И как верить тронутому человеку, но какая-то доля правды была в его словах. И потому все хуторяне жили в тревоге.

А до того времени не появлялся в степи двуглавый волк и не загорался на чистом небе в ночи большой крест.

И грянул жданный и никем не жданный день. Началась война. Каждый теперь разумел, что эта война будет тяжкой и долгой, потому как таких горьких плачей и таких прощальных песен, от которых даже у самых малых ребятишек мутилось сознание, ещё не бывало. За одну неделю с небольшим хутор здорово поредел. А тут уборка хлебов накатывалась. И столько дел нашлось для ребят. Теперь с ранней зари в степь торопимся. Там у нас свой призывной пункт.

*Перелякался – перепугался.



ШУЛЬГА

Иван Иванович

*Александровский район
село Александровское*

ДЕРЕВЯННОЕ САЛО...

Рассказ-быль

Наши покинули село первого августа, а на следующий день к полудню на его улицах уже хозяйничали немцы.

Ездили на мотоциклах вдоль каменных и саманных стенок, расклеивали на домах и деревьях свои листовки, о чём-то громко переговаривались и смеялись.

Но Катька Верёвкина ничего этого не видела. Мать строго-настрого запретила ей выходить на улицу. Как жаль. У Сапрыкиных, наверное, поспели груши. В прошлом году в это время они с Митькой Скрябиным уже их ели. Как только стемнеет, собирались за огородами, раздвигали подгнивший частокол, залезали в сад, подкрадывались к старому грушевому дереву и на ощупь собирали крупные, как гусиные яйца, медовые груши. От сладостных воспоминаний у Катьки текли слюни. Она подумала: Митька такой, что полезет в сад и без неё. Небось, насобирает пазуху груш и сидит, грызёт. Отчего же ему это не делать? Забор у Сапрыкиных чинить некому. Война.

У Катьки в саду были и свои груши, но мелкие и не такие сладкие. Яблоки и сливы ей уже надоели, можно было есть подрожаны, так местные жители называли помидоры, но Катьке они не нравились. Чёрные ягодки дикого паслёна были вкуснее. Ждать, когда поспеет виноград и чернослив, казалось очень долго.

В тревожных ожиданиях неприятных событий прошла неделя. Как-то под вечер пришла подруга матери Дашенька. Их так и звали в селе: Дашенька и Машенька. Дружили в девичестве. Остались верными подругами и в замужестве. На ней была старая заношенная юбка, дырявая кофта, платок на голове повязан, как у старухи. Машенька, мать Катьки, глянула на неё и удивилась:



– Ты чего, подруга, на колядки собралась? Проснись, август на дворе, а не январь!

– Погляжу я, что ты запоёшь, когда на хвост тебе немец упадёт!

Улыбка исчезла с лица Машеньки. Подруги разом вспомнили о своих мужьях. У одной он воевал в Красной Армии, у другой перед самой оккупацией погнал колхозный трактор в Будённовск. Дашенька принесла свежие новости. Комендантом назначен огромный жирный немец. Глаза выпучит, орёт на всех, ходит, как павлин, и всем русским говорит:

– Ви должны помогать немецкой армии.

– А Бобряки, – продолжала Дашенька, – теперь у нас полицаи.

– Вот гады, – возмутилась Машенька, – в Красную Армию идти они больные, а к немцам, пожалуйста.

– Повесили объявление, – Дашенька перешла на шёпот, – но Катька, сидевшая за дверью, все равно услышала, – всем евреям зарегистрироваться в комендатуре, а всех, кто будет их укрывать, станут расстреливать. А ещё сказали, у кого есть советские награды, повесят!

Машенька вдруг вспомнила про свою двоюродную сестру Дусю. Та не замужем и была на окопах. За хорошую работу сам маршал Будённый наградил её грамотой. Надо её предупредить.

На следующий день Катька увидела первого немца. Высокий, худой, рыжий. Он ходил по дворам и собирал яйца. Кур у Верёвкиных не было. Но немец заглянул в сарайчик, покачал головой и ушёл. Зато у Никульниковых он поживился. На просьбу о яйцах бабка Аниська пошла в чулан, вынесла оттуда целое лукошко с куриными яйцами и положила в корзину немцу пяток яичек. А немец, улыбаясь, взял у неё лукошко, достал оттуда несколько яиц, отдал бабушке и произнёс на ломаном русском:

– Это тебе, а это мне.

И стал перекладывать яйца из лукошка в свою корзину. Сельчане долго смеялись над бабкиной простотой. Вместе с немцами по дворам ходили полицейские и переписывали, что у кого есть ценное.

Но это совсем не волновало Катьку Верёвкину. Ей постоянно хотелось съесть что-нибудь вкусненькое. Ничего такого в доме не было. Когда убежало колхозное начальство, можно было, как другие, принести зерна с колхозного двора, но этого не сделали. Свё-



кор и свекровь немощны, а мать Катьки болела. Об отце и говорить нечего. Его в селе не было. На зиму у Верёвкиных было припасено полмешка муки, немного кукурузных кочанов и картошка. Виноград пощипали невызревшим. А вот чернослива наелись от пуза и насушили в русской печи целую корзину.

Пошли затяжные осенние дожди.

Катьке уже разрешалось выходить на улицу, но делать это решительно не в чем. У неё не было резиновых сапог, а калоши одни на всех. Немецкий новый порядок в корне изменил Катькину жизнь. Не надо было ходить в школу, заучивать стихотворения, думать над задачками. Всё это Катьку волновало мало. Её больше тревожило, что сверстники не выходили на улицу, не играли «в кулочки», «в догонялки», «в салочки», «в чирика», по вечерам не жгли костры, не лазили по садам и огородам. Тревожное ожидание беды и непоправимых событий передалось от взрослых детям.

В конце октября поздним вечером в заднее окошко тихонько постучали. На вопрос: «Кто там?» был ответ: «Свои». Мать открыла засов, и в коридор в промокнутой от дождя фуфайке с неистребимым запахом костра ввалился Григорий Верёвкин. Катька выскочила в коридор вслед за мамкой и первая кинулась ему на шею. Щетина была жёсткой и холодной. Потом настало время обниматься с матерью. Закрыли дверь на засов, зашли в комнату, потушили керосиновую лампу, затопили печь. В мерцающем голубом пламени высушенных подсолнечных шляпок стали разглядывать друг друга. В двух словах Григорий рассказал о своих злоключениях. Трактор он догнал только до Чёрного леса. Немцы в районе Будённовска перекрыли дорогу. Вместе с товарищем из Падинки Ильёй Чечелем они закопали своих стальных коней в степи. А сами скрывались в лесу и по кошарам.

Из всех Верёвкиных, а их в селе было больше десятка дворов, Григорий считался самым серьёзным и умным, он первым в селе освоил трактор. А вот кличка у него была совсем несерьёзная: «Трататуй». А всё оттого, что, чем бы он ни занимался, вечно напевал: «Тра-та-та, тра-та-та!» В колхозе он был активистом, потому и прятался от немцев.

В ту ночь Катьку, к её великому нежеланию, отправили ночевать на половину дедушки и бабушки. Утром, когда она проснулась, отца уже не было. Но удивило её не это, а то, что кукурузная каша, кото-



рую мать подала на завтрак, была с запахом настоящего сала. Катька подумала: «Это папа принёс кусок сала, и мама сварила на нём кашу. Наверное, кусочек где-то остался. Найду и просто буду лизать. Оно же от этого не уменьшится».

Улучив минуту, когда матери не было в комнате, заглянула в стол, на полки, в чулан, но сала нигде не было. Залезла на потолок. Там нашла только пустой ящик из-под сала с разломанной крышкой. Через две недели они снова ели кукурузную кашу с запахом сала. Катька не удержалась, и спросила у матери:

– Откуда у нас сало?

– Откуда, откуда, от верблюда, – ответила мать.

А дед загадочно улыбнулся и произнёс:

– Мамка у тебя на все руки мастер, как тот солдат, из топора щи варит.

Катька ничего не поняла, но выяснять не стала. Дед учил, пере-спрашивают глухие или глупые люди и дураки.

Шли дни. Весь ноябрь дули колючие ветры и хлестали холодные дожди. Немцы, наученные горьким опытом предыдущих завоеваний, не зверствовали. Сбором продуктов, тёплых вещей для немецкой армии занимались полицаи. Эти, чувствуя безнаказанность, творили, что хотели. А проще говоря, грабили односельчан. Машенька, как и её подруга, напялила на себя старьё, и со двора никуда не ходила. Брать у Верёвкиных было решительно нечего. Когда-то это была зажиточная, крепкая семья. В голодный тридцать второй год родители Машеньки отдали её замуж за Гришку Верёвкина не по любви, а чтобы с голоду не сдохла. Но колхоз всех уравнил. Семья обеднела. Жили, как и все колхозники.

Машеньке повезло. Ни немцы, ни полицаи её не тронули, а вот её подружке Дашеньке – не очень. Приглянулась она залётному полицая. Неизвестно, чем бы закончилось дело, да услали его в командировку в райцентр. Перед отъездом, напившись, он избил Дашеньку до полусмерти.

Катьке шёл десятый год. Она переживала за взрослых, но главное её желание было – еда.

На Седьмое ноября она вспомнила, как два года назад перед войной из райцентра приезжала автолавка и привозила сладкую воду – лимонад. А ещё там были вкусные «лампочейки» - конфеты-подушечки. Отец купил ей тогда бутылку лимонада и целую баночку



конфет. Где он теперь? Катька нарочно долго не ложилась спать, чтобы первой встретить отца. Но он не приходил. А потом выпал снег. И мама сказала: «Не жди, не придёт. В такое время ходить опасно, по следам найдут».

И снова была кукурузная каша с запахом сала. Вкусная, разваристая. Катька лопала её и думала: «Мама отрезает маленький кусочек сала и варит его в воде, а когда он разварится, мнёт его, как картошку, потом кладёт в кукурузную кашу и доваривает. Но я же не хочу украсть это сало, а просто полизать». Перед обедом, когда мать ушла в конец огорода наломать вишнёвых веток для чая, Катька проверила все укромные уголки, где она могла бы спрятать это сало. В комнате, в коридоре, в чулане, в подвале. Она даже перевернула кем-то разломанный ящик из-под сала на потолке, но заветного кусочка нигде не было.

Приближался Новый год, но ни у взрослых, ни у детей не было праздничного настроения. Боль и тревога поселились в домах. По ночам в небе над селом зловеще ревели самолёты и где-то далеко на юго-востоке мерцали зарницы. По тому, как забегали немцы и полицаи, как они засуетились, селяне поняли, что для них настали не лучшие дни.

Каждый день после обеда мать уходила ухаживать за своей покалеченной подругой, а Катька часами слушала дедовы байки и бабушкины наставления. На Рождество, как только развиднелось, она вошла в дедову комнату и звонким голосом произнесла:

– Вам порождествовать?

– Рожествуй, внученька!

Катька на одном дыхании пропела рождественскую молитву и поклонилась. Бабушка подарила ей новые шерстяные носочки, дед достал из дальнего угла за печкой замусоленный кусочек сахара. А на обед снова была каша с запахом сала.

Дня через три Катька вспомнила, перед тем как разжечь печь и готовить обед, мать зачем-то лазила на чердак. Она решила подняться туда и всё хорошенько осмотреть. Ящика из-под сала там не оказалось, а несколько дощечек от него лежали в сторонке. Катька прошла в дальний угол, но и там ничего не было. Вдруг крышка над лядой загремела и на потолок стала подниматься мать. Катька едва успела спрятаться за трубу. Машенька взяла пару дощечек, разрубила каждую на три части и уже собралась спускаться вниз. Вдруг там



раздался страшный крик и громкие причитания. Машенька пулей слетела вниз. Теперь Катька поняла, откуда у кукурузной каши запах свиного сала. Чтобы мать не задала ей «перцу» за то, что «лазиешь, где попало», она решила переждать и спуститься в коридор, когда мать куда-нибудь выйдет.

Но Машеньке было не до Катькиных проблем. Они с подружкой обсуждали страшную новость. Немцы на подходе к селу взяли в плен наших разведчиков и расстреляли их возле ремонтных мастерских. Обе сразу подумали, что среди них могли быть их мужья, оттого и ревели. Особенно страшно было смотреть на Дашеньку. Кровоподтёки от прежних побоев ещё не рассосались, и лицо её казалось зловещим.

Немцы входили в село как хозяева, а покидали как воры. Бесхозным оно оставалось недолго. Вскоре в него вошли наши солдаты. А через несколько дней домой вернулся отец. Перво-наперво натопили баню, бросили все его вещи в стирку. На следующее утро, когда за завтраком собралась вся семья и мать поставила на стол ароматную кукурузную кашу, отец весело спросил:

- Ну как вы тут без меня жили, бедствовали, небось?
- Да нет, – ответила за всех Катька с видом человека, владеющего великой тайной, – мы ели деревянное сало!
- Вот как?! А разве такое бывает? – удивился отец.
- Ещё как бывает! – ответила мать и отвесила Катьке мягкий подзатыльник.

Катька не обиделась и продолжала как ни в чём не бывало:

- Пап, а ты пойдёшь бить немцев и полицаев?
- Пойду, дочка, обязательно пойду.

Но Григорию Верёвкину не суждено было взять в руки оружие. Его ожидал совсем другой фронт. Надо было ехать откапывать свой трактор, пахать, сеять...

На Восьмое марта он привёз из МТС подарки своим девочкам: матери, жене и дочери – кусок настоящего сала.





ЯКОВЛЕВ
Владимир Яковлевич
Ставрополь

ПРИФРОНТОВАЯ ДЕРЕВНЯ

В нашей деревне не было библиотеки, магазина, Дома культуры. Зато был фельдшерский пункт, в который постоянно приезжали корреспонденты, фотографы и писатели. Заведовала им дочка расстрелянного врача. Сейчас всем известно, сколько тысяч попавших в окружение советских бойцов полегло в лесах под Вязьмой. А отец нашей фельдшерицы был врачом правильным и сердобольным. Одного бойца подобрал, другого перевязал. Потом взял казённую бричку, да и поехал по полям собирать раненых.

Как он лечил их, чем, об этом говорить не будем, а вот поставил на ноги семнадцать солдат и одного комиссара.

– Спасибо, – говорит ему комиссар. – Вылечил. Теперь счастливо тебе оставаться.

Фельдшерица, она тогда ещё совсем девочкой была, метнулась от одного дома к другому, собрала бойцам в путь-дорогу что бог послал. Благо, село наше глухое, не разорённое, потому как лежит оно в семи километрах от железной дороги. А добираться до него надо по грязи болотной, по лесным тропиночкам, по буеракам да косогорам.

Пришли селяне провожать на фронт солдат Красной Армии. Построились подвыздоровевшие бойцы. Комиссар уже хотел торжественное слово сказать, а колхозный бригадир – одноногий Колька Соколов как закричит:

– Что ж вы, сволочи, делаете?

Все прямо опешили. А Колька машет на окно фельдшерского пункта, к которому словно прилипли неходячие:

– Сами, значит, улепётываете, а товарищей на смерть бросаете?



Селяне загудели, заохали. Комиссар снял фуражку и жалостно так просит:

– Бабоньки, родненькие, может, кто по домам раненых разберёт? Припрячете где-нибудь?

– Двадцать раненых мужиков припрятать? – орёт бригадир. – Вы в своём уме?

– Да, – сказал комиссар, – придётся оставаться.

Так в деревне со странным названием Хватов-Завод Семлёвского сельсовета Вяземского района было создано ядро партизанского отряда «Искра», дававшего немцам такого дрозда, что они за всю войну так и не посмели сунуться в нашу деревню. А только обстреливали её с бронепоезда от полустанка Годуновка.

Врач, принимавший участие в боевых операциях партизанского отряда, попал в плен, но своих не выдал и пал смертью храбрых.

Жилось послевоенной ребятне голодно, но интересно. Вот, например, я умею плести лапти, пилить, колоть, пахать, доить, стрелять...

О последнем расскажу подробней.

Шастая по заросшим окопам, блиндажам и дзотам, по местам отгремевших боёв, мы страстно обогащали свои мальчишеские арсеналы. Мой состоял из винтовки Токарева, кавалерийского карабина, двух трёхлинеек, автомата ППШ, шмайсера, нагана, маузера, парабеллума, вальтера, ТТ и немереного количества патронов. Мы глушили рыбу, ловили раков, ели корни осоки, и всё же жили голодно.

ПРИСЯГА

Великого дела наследник,
Готовься в далёкий поход –
Оркестр, сверкающий медью,
К великим свершеньям зовёт.

Затихли приказа раскаты,
И бой барабанный умолк.
Сжимается сердце солдата –
На знамя равняется полк.



И сразу ни звука, ни вздоха,
И каждому строгость к лицу.
Равняются две эпохи
На старом военном плацу.

Стоим мы под флагом Отчизны,
И сталь автомата права.
И только единойды в жизни
Такие даются слова.

ОТЦОВСКИЕ МЕДАЛИ

Как этот лес и строен и высок!
Уходят сосны
Выше, выше, выше...
Я слышу по стволу идущий сок.
Своих шагов и голоса не слышу!

Последний ветер леденит висок.
Друзья отца со мною рядом встали.
Кладут отца в кладбищенский песок,
А мне дают отцовские медали.

Печальные обычаи Руси...
Бьют молотки.
Забывать ли эти звуки...
Но кто-то тихо говорит: – Неси!
Не отдавай, сынок, в чужие руки.

Как холодна сейчас земля в горсти!
А впереди – немереные дали.
И кроме сына некому нести
Вот эти потемневшие медали.



ОБЕЛИСКИ

О, сколько золота на сером...
Пока глаза не заболят,
Читай,
от страшных тех посевов
Прогнулись русские поля.

Тебе ли горя занимать,
Моя печальная сторонка?
Оградки, холмики, воронки –
У нас их трудно сосчитать.

Тут что ни поле – поле брани.
А сколько здесь полей и сёл!
Здесь каждый третий партизанил,
А каждый пятый
не пришёл...

Здесь о войне болтать не любят,
Здесь песни мирные поют.
Живут трудящиеся люди,
Пусть небогато,
но живут.

И вдруг подумаешь: ей-богу,
А что да если б не война?
Какие были бы дороги,
Какие встали бы дома...





ЯРОШ
Виктор Андреевич
Невинномысск

ВЕЧНЫЙ БОЙ

Бьётся вечный огонь,
Как дыхание павших солдат.
Рвётся из-под земли,
Где солдаты те строем лежат,
А над ними стена,
На которой атака и бой!
И победа близка.
И последняя смертная боль.
Но не бросить гранату.
Не лечь. Не разжать кулаков.
Им в атаку идти
За Россию во веки веков!
Им теперь ни любить,
Ни смотреться в небесную высь.
Им солдатами быть,
Словно лишь для того родились.
Им теперь воевать.
И не будет конца той войне.
Каждый день им вставать
Барельефом на этой стене...
Только, может быть, в самую,
Самую тёмную ночь,
Если стужа и дождь,
И бежать уже больше невмочь,
Подойдут они молча
И вечный обступят огонь.
И закурят махорки,



И сигарки упрячут в ладонь.
Чтоб никто не увидел
Их – уставших солдат у огня.
Им теперь – только бой!
Вечный бой за тебя и меня.

БЫЛА ВОЙНА

Не надо, мама, говорить о прошлом.
Была война.
Тогда была война.
Я помню, как чуть-чуть коптила плошка,
А ночь, как нефть, плескалась у окна.
Парком дымилась кормовая свёкла
Неровной горкой посреди стола.
Я помню: ты тогда совсем промокла –
Ты шаль свою за свёклу отдала.
О, эта чуть дымящаяся горка!
Но почему-то я тогда не ел.
Во рту от свёклы было слишком горько.
Наверно, потому, что я болел...
Не надо, мама, говорить о прошлом.
Была война.
Тогда была война.
Я жил, как огонёк у нашей плошки.
А мир чернел зловеще у окна.
Оно блестящей чёрною заплатой
Осеннюю удерживало ночь.
А что могла ты?
Ты могла заплакать.
Но этим не могла ты мне помочь.
Потом... Не помню... Всё во мне смешалось.
И днями я не видел света дня.
Но чудилось: своею тёплой шалью
Укутываешь бережно меня.



Я видел иногда твой лик печальный,
В жару метался и не знал про то,
Что нету у тебя ни тёплой шали,
Ни довоенного добротного пальто...
Ко мне прорвался свет весною ранней.
Я встал, цепляясь за ладонь твою.
Но, голодом тогда жестоко ранен,
Я и теперь порою с ног валюсь.
Не надо, мама, говорить о прошлом.
Была война.
Тогда была война.
И если мне сейчас бывает плохо,
Я знаю, в этом не твоя вина.
Была война.

ВОИН

Одинокий памятник посреди степи...
Камни глыбой высятся, как всадник.
Кто здесь чашу горькую до конца испил?
Расскажи, ковыль, мне Бога ради!

Но молчит ковыль, качая головой,
Поседевшей под горячим ветром.
Памятник зарос кустами и травой,
Никому он не даёт ответа.

Только всё же кто-то памятник сложил!
Значит, здесь покойтся достойный.
И не зря, наверно, жизнь свою прожил
Памятником воскрешённый воин.



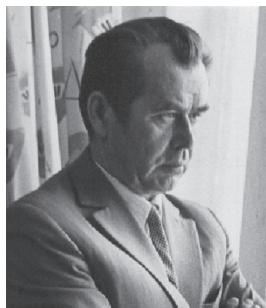


ПИСАТЕЛИ – ФРОНТОВИКИ





АЛДАХИН Павел Васильевич, поэт
(1919–1985), фронтовой корреспондент, на-
граждён орденом Красной Звезды, медалью
«За боевые заслуги»



АЩЕУЛОВ Вениамин Абрамович, поэт
(1920– 1998), командир пулемётного рас-
чёта, разведгруппы, десантной группы на
танках; награждён орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «За
победу над Японией»



БАЙДЕРИН Виктор Александрович, проза-
ик (1916–1979), фронтовой корреспондент,
награждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией»



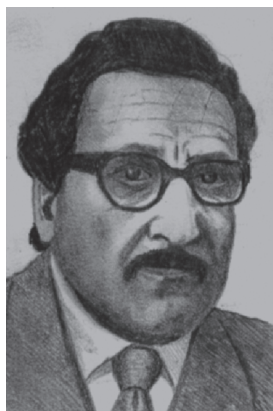
БАБАЕВСКИЙ Семён Петрович, прозаик (1909–2000), редактор дивизионной газеты, затем корреспондент фронтовой газеты «Боец РККА», награждён медалью «За оборону Кавказа»



БУЛКИН Иван Гурьянович, поэт (1912–1943), разведчик, погиб при освобождении Ставрополя в 1943 г., награждён орденом Красного Знамени (посмертно)



ГНЕУШЕВ Владимир Григорьевич, поэт (1927– 2011), лейтенант флота, награждён медалями «Фёдор Ушаков», «За победу над Германией»



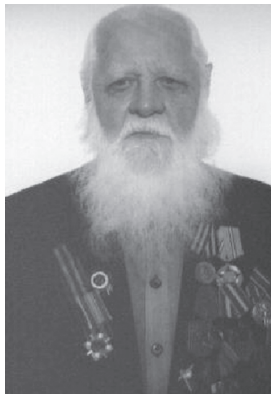
ДРОЗДОВ Сергей Степанович, прозаик (1918–2004), участник советско-финской и Великой Отечественной войн, командир радиороты, награждён орденом Красной Звезды и польским орденом «Крест Храбрых», медалью «За оборону Ленинграда» и польскими медалями «За Одер, Ниссу, Балтику», «За вольность»



ДЯТЛОВ Владимир Семёнович, прозаик (1924–1996), артиллерист, командир орудия, дважды ранен, награждён орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги»



ИСАКОВ Андрей Максимович, поэт (1902–1971), фронтовой корреспондент, участник освобождения Ставрополя в 1943 году, награждён орденом Красной Звезды



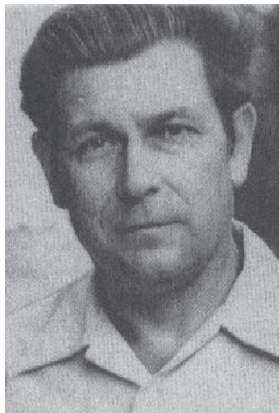
КАРПОВ Евгений Васильевич, прозаик (1919–2016), артиллерист, воевал на Сталинградском фронте, под Ростовом попал в плен, дважды бежал из концлагеря, награждён медалью «За победу над Германией»



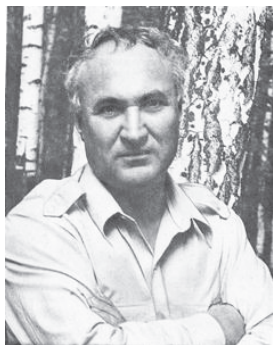
МАРЬИНСКИЙ Валентин Данилович, поэт (1924–1972), ушёл на фронт добровольцем, дважды ранен в боях за Северный Кавказ, награждён медалью «За оборону Кавказа»



ПЕРВЕНЦЕВ Аркадий Алексеевич, прозаик (1905–1981), капитан 1-го ранга, военный журналист, участник обороны Севастополя и Керчи, награждён орденом Отечественной войны 1-й степени



РОМАНОВ Игорь Степанович, поэт (1927–2009), военный шофёр, служил под командованием генерала Плиева, награждён медалью «За победу над Японией»



РОСЛЯКОВ Василий Петрович, прозаик (1921–1991), литсотрудник газеты «Партизанская правда», награждён орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Дружбы народов.



СКОРИК Владимир Иванович, поэт (1922–2015), командир санитарного взвода, трижды ранен, награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа»



УСОВ Михаил Васильевич, прозаик (1905–1990), фронтовой корреспондент, награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией»



ЧЁРНЫЙ Карп Григорьевич, прозаик (1902–1985), прошёл войну с первого до последнего дня, сражался на Южном, 1-м и 4-м Украинских фронтах, закончил войну в Праге награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, многими медалями



ЧУМАК Илья Васильевич, прозаик (1912–1967), капитан-контрразведчик, старший уполномоченный органов «СМЕРШ», тяжело ранен, награждён орденом Красной Звезды



**ИЗДАТЬ ЭТУ КНИГУ
ПОМОГЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
СТАВРОПОЛЯ**

Депутаты Думы Ставропольского края

ГОНЧАРОВ Виктор Иванович, КПРФ
ЖДАНОВ Владимир Иванович, «Единая Россия»
РАЗДОБУДЬКО Алексей Викторович, «Единая Россия»

Депутат Совета Минераловодского городского округа

АКОПЯН Михаил Борисович, КПРФ

Руководители предприятий

ХНЫЧЕВ Валерий Альбертович, Пятигорск
ЯСТРЕБОВ Владимир Иванович, Пятигорск





СОДЕРЖАНИЕ

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА	3
Мир под Знаменем Победы	4
АКСЁНОВ Иван Михайлович, Новопавловск	5
АНАНЬЧЕНКО Николай Михайлович, Ставрополь	14
АНКРИНОВА Галина Владимировна, Железноводск	17
БАГРАМЯН Сусанна Оганесовна, Георгиевск	21
БОНДАРЕНКО Николай Пантелеевич, Минеральные Воды	23
БРОДОВСКИЙ (ПЕТРОСЯН) Валерий Давидович, Ставрополь	28
БУТЕНКО Владимир Павлович, Ставрополь	32
ВОРОПАЕВ Олег Владимирович, Новопавловск	39
ДЕДУСЕНКО Идиллия Владимировна, Ставрополь	48
ДМИТРИЧЕНКО Валентина Гапуровна, Невинномысск	60
ЗВЯГИНЦЕВА Елена Анатольевна, Изобильный	63
ИВАНОВА Елена Львовна, Предгорный район	66
КАСПЕРСКИЙ Станислав Шакирович, Ставрополь	73
КАУНОВА Юлия Андреевна, Кисловодск	76
КОЖЕВНИКОВ Владимир Иванович, Невинномысск	82
КОМАРОВ Александр Михайлович, Новоселицкий район	88
КУПРИН Александр Иванович, Пятигорск	94
КУСТОВ Виктор Николаевич, Ставрополь	99
ЛОБОВА Тамара Михайловна, Кисловодск	107



ЛЮБЕНКО Иван Иванович, Ставрополь	115
МАЛЯРОВ Владимир Константинович, Михайловск	122
МАСЛОВ Анатолий Михайлович, Изобильненский район	128
МОСИЕНКО Александр Алексеевич, Пятигорск	139
НАРЫЖНАЯ Валентина Васильевна, Шпаковский район	144
ОВСЯННИКОВ Сергей Данилович, Изобильненский район	148
ОКЕНЧИЦ Наталья Владимировна, Михайловск	154
ПАСЬКО Иван Андреевич, Будённовск	157
ПЕТРОВ Владимир Григорьевич, Пятигорск	161
ПОЛУМИСКОВА Екатерина Петровна, Ставрополь	167
РЫБАЛКО Сергей Николаевич, Ессентуки	172
САХВАДЗЕ Николай Николаевич, Изобильненский район	177
СРИБНЫЙ Игорь Леонидович, Минеральные Воды	181
СУХОРУКОВА (ЛАНГУЕВА) Тамара Васильевна, Невинномысск	185
ТРИЛИСОВ Анатолий Иванович, Пятигорск	189
ХАЛИМОНОВА-МЕЛЬНИК Алла Владимировна, Ставрополь	192
ХМЕЛЁВА Надежда Владимировна, Будённовск	195
ХОДУНКОВ Константин Дмитриевич, Ставрополь	198
ШЕВЧЕНКО Галина Александровна, Пятигорск	201
ШЕЛУХИН Тимофей Семёнович, Изобильненский район	203
ШУЛЬГА Иван Иванович, Александровский район	205
ЯКОВЛЕВ Владимир Яковлевич, Ставрополь	211
ЯРОШ Виктор Андреевич, Невинномысск	215
ПИСАТЕЛИ – ФРОНТОВИКИ	218

Литературно-художественное издание 12+

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!
Коллективный сборник произведений писателей Ставрополя

ББК 84(2Рос–4Ста)
ISBN 978-5-905831-28-7

Редактор-составитель А.И. Куприн

Подписано в печать 08.06.2020.
Формат 60х84 1/16. Бумага тип. Гарнитура Myriad Pro.
Печать цифровая. Ф.п.л. 14,25.
Тираж 200 экз. Заказ 2008.

ЗАО «Минераловодская типография»
Минеральные Воды, Фрунзе, 33
Контактный телефон: 8 (87922) 7-67-30